

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 выпуска, 1 тома 1927 г.

стр.

Доц. Д-р Г. В. Сегалин	Частная эвратопатология аффект-эпилептического типа гениальности. Психическая структура аффект-эпилептического типа гениальности	2
Д-р И. Б. Галант.	Эвроэндокринология великих русских писателей:	
	1. Лермонтов	19
	2. Пушкин	39
	3. Гоголь	56
Доц. Д-р Н. А. Юрман.	Бетховен (патографический очерк)	66
Д-р В. С. Гриневич.	К патографии Сергея Есенина	82
Рецензии		95

НА 1927 ГОД

предлагается подписка на

КЛИНИЧЕСКИЙ АРХИВ

ГЕНИАЛЬНОСТИ И ОДАРЕННОСТИ

(ЭВРОПАТОЛОГИИ)

ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ ПАТОЛОГИИ ГЕНИАЛЬНО-ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ, А ТАКЖЕ ВОПРОСАМ ОДАРЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СВЯЗАННОГО С ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИМИ УКЛОНАМИ.

Выходит под редакцией Г. В. Сегалина.

Имеются комплекты 25 и 26 года

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

на год 5 руб., на 1/2 года 3 руб.

Подписка и склад издания: «Практическая Медицина» Ленинград, проспект Володарского, 49.

Все справки у редактора д-ра Г. В. СЕГАЛИНА, Свердловск (бывш. Екатеринбург), улица Вайнера № 46.

XX 452 / 12 Ф 2-31 / 5858

КЛИНИЧЕСКИЙ АРХИВ

Гениальности и Одаренности

(ЭВРОПАТОЛОГИИ)

ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ
ПАТОЛОГИИ ГЕНИАЛЬНО-
ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ,
А ТАКЖЕ ВОПРОСАМ ПА-
ТОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА

ВЫХОДИТ ПОД РЕДАКЦИЕЙ
д-ра Г. В. СЕГАЛИНА

ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

Том III

1927 г.



СКЛАД ИЗДАНИЯ «ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»

ЛЕНИНГРАД, ПРОСПЕКТ ВОЛОДАРСКОГО, 49

ИЗДАНИЕ РЕДАКТОРА

Частная европатология аффект-эпилептического типа гениальности.

Психическая структура аффект-эпилептического типа гениальности.

Д-ра Г. В. Сегалина.

Приступая к изучению частной (или специальной) европатологии аффект-эпилептического типа гениальности, мы должны предварительно сказать несколько слов о том, как мы думаем приступить к предмету нашего изучения, чтобы читатель сразу мог ориентироваться относительно характера постановки вопроса и, вместе с тем, познакомиться с европатологической методикой данного предмета.

Когда мы подходим теоретически и практически к изучению какого-нибудь специального типа гениальности с точки зрения европатологической методики, то мы обязательно должны всю европатологию данного типа расчленить на 3 отдельные части:

1. Специальная европатология гениальной личности данного типа;
2. Специальная европатология творческого приступа данного типа;
3. Специальная европатология творческих произведений данного типа.

Личность, творческий приступ, продукт данного творческого приступа—вот 3 основных объекта изучения всех 3-х частей, которые в целом составляют специальную европатологию данного типа. Следовательно, аффект-эпилептический тип гениальности будет иметь в своей специальной европатологии все эти 3 отдельные части, точно так же, как специальная европатология, скажем, циклофренического, шизофренического или другого типа, будет иметь все эти 3 части. Задавшись целью здесь в данной работе изучать специальную европатологию аффект-эпилептического типа, мы, следовательно, должны расчленить эту специальную европатологию также на следующие 3 части:

1-ая часть. Европатология гениальной личности аффект-эпилептического типа.

Здесь мы должны изучать: биогенетические и патогенетические условия происхождения и условия формирования такой лич-

ности, психическую структуру, общую symptomатологию, диагностику, дифференциальную диагностику этого специального типа в целом и в сравнении с другими типами.

2-ая часть. Эвропатология творческих приступов аффект-эпилептического типа.

Тут мы обращаем внимание на специальные психомеханизмы творческих приступов («вдохновение» и проч.), специальную symptomатологию, диагностику, дифференциальную диагностику творческих приступов, присущих именно этому типу, в сравнении с другими.

3-ая часть. Эвропатология творческих произведений аффект-эпилептического типа.

В этой части изучается патогенез и психогенез продуктов творческого приступа у аффект-эпилептического типа, как такового. Здесь мы также изучаем symptomатологию, диагностику, дифференциальную диагностику творческих произведений, присущих именно аффект-эпилептикам в сравнении с другими.

Исходя из такой намеченной схемы, мы, приступая к изучению европатологических проблем, должны предварительно ясно и точно поставить себе вопрос: что мы хотим изучать из этих 3-х частей—личность, творческий процесс или произведение (результат этого процесса), ибо часто авторы, задаваясь изучением проблем творчества смешивают при этом все эти 3 части этой проблемы.

Все эти 3 части должны изучаться в последовательной связи: сначала личность, потом творческий приступ этой личности, а затем уже произведения этой личности.

Мы увидим впоследствии, что европатологическая методика требует именно такой последовательной связи, ибо каждая часть европатологии логически строится на основах другой.

Намереваясь на страницах данного «Архива» намеченный план развить в отдельных работах (по отдельным главам и вопросам), мы в этой работе останавливаем внимание на структурных особенностях аффект-эпилептической личности, как особенностях психической структуры, свойственных аффект-эпилептическому типу гениальности. Этим мы пока и ограничим рамки настоящей работы в этот раз, предполагая (как сказано было выше) о других моментах говорить в другой раз.

Психическая структура аффект-эпилептического гения.

В нашей работе «Эвропатология гениальных эпилептиков» (Кл. Арх. Гев. и Одарен., вып. 3-й, II т.), мы указывали на то обстоятельство, что если великие люди подвержены эпилепсии, то это бывает аффект-эпилепсия (или «реактивная эпилепсия», других авторов). Генуинной эпилепсии, ведущей к притушению психики или к слабоумию—мы не могли констатировать ни од-

ного случая в истории болезней великих и замечательных людей. Мы высказывали убеждение, что гениальная форма эпилепсии даже не может быть у великих людей, как форма, не дающая благоприятных условий для разряда эвроактивных приступов.

В настоящей работе мы стремимся обрисовать характерные особенности психической структуры аффект-эпилептической психики, как конституциональной формы, которая дает благоприятные условия для создания особого механизма *Partus' a ingenialis*. Этот *Mechanismus Partus Ingenialis* и будет типичным и характерным в своих особенностях именно для гениальных людей с аффект-эпилептической конституцией.

Эти особенности дадут нам возможность выделить особый тип гениального человека, и именно аффект-эпилептический тип, со специфической симптоматологией, дающей возможность дифференцировать этот тип от других типовых групп гениальности, а также дающей возможность построить симптоматиологию творческих приступов у этого типа и также дифференцировать их от приступов, свойственных другим типам. Вот почему мы должны изучению этих особенностей посвятить эту специальную работу. Конечно, рамки статьи позволяют нам только схематизированно говорить на эту тему.

Самым характерным в психомеханизме проявления психической энергии у аффект-эпилептиков является симптом поллярности психических разрядов.

Поясним, что мы понимаем под «полярностью». Обычно нормальная реакция человека на внешние раздражения протекает по линии средней интенсивности.

Психическая энергия, окрашенная известной дозой эмотивности, проявляется в известной пропорции по отношению к другим (интеллектуальным и волевым) элементам, а также по отношению к внешним раздражителям. Эта пропорция, сохраняющаяся как нечто постоянное и характеризует «норму» и границу психических реакций «нормального» человека.

Эта «норма» реакций никогда не выходит за известные средние пределы, ни в сторону плюс, ни в сторону минус. Повышенный аффект или притушенный аффект, повышенная волевая реакция (судорожный припадок, гиперкинезия, гипербулия и проч.) или пониженная (гепр. повышенная интеллектуальная деятельность и пониженная, доходящая до бессознательности)— есть удел всякой патологической реакции. Но эти уклоны в сторону плюс и минус имеют свои механизмы. Эти механизмы, между прочим, также зависят от того, насколько эти уклоны в сторону плюс или минус приближаются к тому или иному полюсу (или пределу) возможного уклона. Ведь уклоны в сторону плюс и минус имеют же, наконец, и свои пределы: т. е. уклоны эти могут доходить до полярности или не доходить.

Психо-механизмы, доходящие до этой полярности, или до полярных реакций, мы можем обозначить—как психомеханизмы с полярными реакциями. Аффект-эпилептическая психика при-

надлежит к таким механизмам и для них этот психомеханизм является наиболее характерным. Прежде всего сам по себе «эпилептический припадок», со всеми его гиперкинетическими и эквивалентными явлениями, есть тенденция к полярному разряду волевой энергии в сторону плюс; с другой стороны—последующая эпилептическая акинезия, после припадка, ступор и проч., есть полярная тенденция в сторону минус. В отношении эмоциональности,—аффективные разряды перед припадком имеют тенденцию к полярному разряду в сторону плюс, а в сторону минус—после припадка. В отношении интеллектуальных разрядов: обострение перед припадком (аура, гипермнезия) понижение во время и после припадков (бессознательное состояние, амнезия после припадка).

Психомеханизм с тенденциями к такому предельному разряду психической энергии, доходящей до полюсов,—дают симптомокомплексы полярных разрядов.

Второй особенностью аффект-эпилептической психики является то, что вышеупомянутая полярность реакции сопровождается альтернативным характером этой реакции. Полюс—плюс (гиперкинезия, гипертимия, гипермнезия) имеет тенденцию или тяготение тут же перейти к противоположному полюсу—минус (к гипокинезии, акинезии, гипотимии, к амнезии и т. д.). Иначе говоря, полярные симптомы «гипер» имеют тенденцию и непреодолимое тяготение перейти в «гипо». Подобно маятнику, раскачивающемуся к крайним своим точкам размаха, то вправо, то влево,—аффект-эпилептическая психика в этом смысле альтернативна: не знает середины. Реакция одного полюса быстро переходит к реакциям другого полюса: эпилептик или чрезвычайно аффективен, гневен или чрезвычайно мягок, добр, любвеобилен, или экстатичен, возбужден, или подавлен, угрюм, или чрезмерно деятелен, подвижен или апатичен, или переживает необычайное интеллектуальное обострение или удивительно туп, беспамятен и т. д. Но характерно то, что все это быстро может переходить из одного состояния в другое.

3-ей характерной особенностью аффект-эпилептической психики являются: симптомы извращения полярных разрядов.

Под симптомом извращения полярных разрядов мы понимаем то состояние, когда в процессах вышеупомянутых полярных разрядов полюс отрицательный замещается полюсом положительным или наоборот. Например, аффект-эпилептик вместо того, чтоб разрядить полярно свои эмоциональные переживания «альтруистическими» эмоциями, разряжает их эмоциями «жестокости», иначе говоря, там, где он должен выявить крайнюю степень эмоции любви, самопожертвования, он проявляет эти эмоции садизмом (вместо полюс—плюс он выявляет полюс—минус). Таким образом, мы имеем здесь з а м е щ е н и я одного крайнего полюса другим крайним. Происходит это по закону и з в р а щ е н и я эмоциональной полярности аффект-эпилептиков. (Аналогично этому, экстатические переживания могут замещаться гиперки-

нетическими (припадком) или гипербулией. Гиперкинезия же (припадок) может быть замещена какими нибудь эквивалентами интеллектуального характера» и т. д.)*

Все механизмы аффект-эпилептической психики конструируются на этих 3-х кардинальных основах. Все психические комплексы складываются на этих «3-х китах» аффект-эпилептической психики и получают благодаря этому своеобразно противоречивое строение.

Дело в том, что такое тяготение к полярности и альтернативности этих комплексов вызывает постоянную борьбу между этими комплексами и постоянную неустойчивость и противоречивость их изживания. Создается тип человека, тяготеющий всегда к крайностям, к «страстности», человека с «надрывными» тенденциями во всех тех переживаниях, которые у обыкновенных людей не вызывают такой реакции (или, если вызывают, то только в исключительных экстраординарных случаях жизни). Можно сказать, что у такого типа человека с такой психической структурой, создается установка постоянной напряженности и борьбы как по отношению к внешнему миру (раздражающему его и вызывающему у него всегда полярную и альтернативную реакцию), так и по отношению к себе самому: постоянная борьба с самим собой, со своими собственными тяготениями, то в одну крайность, то в другую.

Эти полярные и альтернативные тяготения касаются не только аффективных переживаний, но и всех сторон волевой и интеллектуальной сферы. Мы имеем в этих случаях не только людей с повышенной и напряженной аффективностью, но и с повышенными волевыми и интеллектуальными реакциями. Гипербулия, гипертимия и гипермнезия (вернее, гиперинтеллектуальность) им также свойственны, как и противоположное состояние: (амнезия, пониженная интеллектуальность, гипотимия, абулия, акинезия и т. д.).

Само собой разумеется, что все эти указанные свойства психики аффект-эпилептиков могут быть и при других формах эпилепсии, но не надо забывать, что в других формах эпилепсии, эти свойства не проявляются, как результат психогенной реакции,

*) Многими авторами все эти особенности эпилептических разрядов (полярности, альтернативности и извращения полярных разрядов) трактуются как амбивалентность. Но это неверно. Амбивалентность, как это понимается Bleuler'ом в шизофрении, есть переживание 2-х исключаящих друг друга противоположных комплексов, уживающихся друг с другом *в один и тот же момент*. Тут мы имеем 2 валентности (или 2 психических *valeur's*) в одно и то же время. У аффект-эпилептиков нет *этой валентности в одно и то же время*, а эти противоположные валентности проявляются *в равные моменты* альтернативно по формуле: «или то, или другое»; одно другое исключает в силу своего противоречия. В шизофренической амбивалентности одно другое *не исключает* и протекает по формуле «и то—и другое», несмотря на их противоречие. В этом принципиальная разница, несмотря на внешнее сходство.

(что является обязательным при аффект-эпилептической конституции). Затем при аффект-эпилептической психике, все вышеупомянутые симптомы (полярности, альтернативности и извращения полярных реакций)—есть нечто закономерное и обязательное, между тем как в других формах эпилепсии эти симптомы вовсе не обязательны. Да у аффект-эпилептиков сами эпилептические (или эпилептоподобные) припадки, как таковые, могут быть очень редки и могут совсем не бывать, между тем у них вышеупомянутые симптомы обязательно всегда будут, в той или иной степени выражены.

Типы людей с так называемым «эпилептическим характером» было бы вернее определять, как людей с аффект-эпилептическим характером.

Для иллюстрации вышеупомянутых симптомов в психической структуре аффект-эпилептической психики, приведем ряд примеров из среды гениальных аффект-эпилептиков.

Чайковский.

Чайковский принадлежал к тому типу гениальных людей, у которых психические реакции на внешний мир протекали по типу полярных реакций.

В особенности это относилось к его эмотивной жизни. Чайковский был аффективен. Его биограф отмечает его аффективность: «о б и д е т ь, з а д е т ь е г о м о г к а ж д ы й п у с т ы а к *»). В то же самое время его полярная реакция носила альтернативный характер и переходила от одного полюса к другому. Об этом биограф (Игорь Глебов—Чайковский. Издание «Мысль» 1922) отмечает у него:

...«повышение степени чувствительности; сострадания к слабым, беззащитным, умирающим, а также к немедленному вспыльчивому реагированию на каждую несправедливость, допущенную по отношению к кому бы то ни было. Это свойство всегда теплилось в Чайковском во всю его жизнь**»).

Из этих отрывков мы можем заключить, что с одной стороны—Чайковский реагировал по типу эмоциональной полярности («задеть его мог каждый пустяк», склонность «к немедленному вспыльчивому реагированию»); с другой стороны—повышенное чувство ко всему беззащитному, страдающему—это типичные полюсы аффект-эпилептических эмоций, протекающих альтернативно: или по каждому пустяку быть вспыльчивым и ссориться, кричать, или крайняя степень доброты вплоть до «защиты чуть ли не каждой букашки», а также «мировая скорбь» по всему угнетенному (даже по мнимо-угнетенному).

Так же полярно и альтернативно проявляются у Чайковского и другие стороны эмотивной жизни. Например, Чайковский

*) Курсив наш. Г. С.

**) Курсив наш. Г. С.

был одержим депрессиями и тяжелыми угнетениями, сопровождавшимися приступами страха смерти (столь характерными для аффект-эпилептиков). Эта тоска и приступы страха «вошли в его жизнь, как доминирующее начало—говорит биограф—среди других элементов эмоциональных переживаний и доводили его до крайних степеней отчаяния, до крайнего полюса. В то же самое время эти крайние степени страха, угнетения и отчаяния—менялись противоположным состоянием—вышей степенью экстаза, любви к жизни, восторженности, т. е. доходили до другого противоположного полюса эмоциональных реакций.

Религиозные эмоции протекали у Чайковского точно так же, по тому же типу полярных крайностей и альтернативности (как это бывает вообще у всех эпилептиков): то Чайковский отдается религиозному экстазу—любит церковные обряды, священнодействует и доходит в этом до крайних пределов, то—обратное—он отдается крайнему безверию и трезвому рассуждению—скептицизму, как будто это состояние есть ему органически присущее свойство.

В отношениях к людям та же полярность и альтернативность: или он становится крайним мизантропом, избегает даже встреч с людьми, как с самыми неприятными, подозрительными существами, которые его раздражают уже одним своим существованием; или—наоборот—он ищет этих же людей, любит их, обаятелен и ласков с ними, заступает за угнетенных, добродушен, сентиментален до слез, готов за них пожертвовать собою, даже итязать и бичевать себя за них*).

Лев Толстой.

В отношении Льва Толстого мы имеем те же симптомы, что у Чайковского.

Если мы возьмем все данные, характеризующие психику Толстого, мы увидим, что с одной стороны он представляет из себя тип человека, склонного на все реагировать аффективными вспышками, ссорами, раздражительностью, суровостью.

Он сам говорил о себе, что ему свойственны «частые переходы от злости и раздражительности к ненатуральной слезливой чувствительности» (см. стр. 24 «Кл. Арх. Ген. и Одар.» 1 вып. 1-го тома—25 г.). И действительно, эти переходы и превращения от аффекта вспыльчивости, злости—к чрезвычайной чувствительности и сенситивности человека, тонко чувствовавшего людское горе, чутко относившегося к проблемам и проповеди «братской любви», «непротивления злу» и т. д. и в этом дошедшего до полярных крайностей—может быть объяснено только его полярным переживанием комплексов, свойственных аффект-эпилептической натуре.

*) Воспоминания Панаевой-Карцевой.

Недаром его родной брат, Сергей Николаевич, удивляясь этим полярным переживаниям, говорил своему племяннику, Льву Львовичу Толстому:—«ты знаешь, я не разделяю взглядов твоего отца, но я не могу отказать в справедливости в отношении всего того, что касается его личности. Посмотри только, как он изменился, каким он стал мягким и хорошим (см. стр. 28 «Кл. Арх. Ген. и Одар.» 1-я кн. 1 тома).

Достоевский.

У Достоевского вышеупомянутые симптомы психической структуры также выступают выпукло и чрезвычайно ярко.

Приступы экстаза альтернируют с приступами угнетения и страха. Приступы полярной аффективности, раздражительности сменяются мягкосердечностью.

Приведем иллюстрацию таких эмоционально полярных переживаний.

«..Придет он, бывало, ко мне (воспоминания о Достоевском М. В. Соловьева), войдет, как черная туча, иногда даже забудет поздороваться, и изыскивая всякие предлоги, чтоб побраниться, чтоб обидеть, и во всем видит себе обиду, желание дразнить и раздражать его... Все то ему кажется не на месте и совсем не так, как нужно, то слишком светло в комнате, то так темно, что никого разглядеть невозможно. Подадут ему крепкий чай, какой он всегда любил—ему подают пиво, вместо чая; нальют слабый—это горячая вода. Пробуем мы шутить, рассмешить его—еще того хуже: ему, кажется, что над ним смеются. Впрочем, мне почти всегда удавалось его успокоить. Нужно было исподволь навести его на какую-нибудь из любимых тем. Он мало-по-малу начинал говорить, оживлялся, и оставалось только ему не противоречить, через час и он уже бывал в самом милом настроении духа»...

Итак, переходы от «самого милого настроения духа» к чрезвычайной аффективности и невозможно тяжелой раздражительности в данном случае—весьма характерные симптомы эмоциональной полярности и альтернативности эмоций. Какой бы сферы психических переживаний не коснулись у Достоевского—езде эти симптомы окажутся налицо.

Если мы коснемся сексуальных переживаний Достоевского, то здесь мы увидим то же явление. Во всех автобиографических романах Достоевского (а романы Достоевского почти все автобиографичны) красной нитью проходит борьба между 2-мя полярно-противоположными комплексами сексуальных переживаний.

Герои Достоевского—это воплощение этих полярных комплексов. С одной стороны—такие комплексы, как Алеша Карамзов, старец Зосима—комплекс сексуального целомудрия, аскетизма. С другой стороны—комплекс самого разнузданного, изысканного разврата и цинизма: Иван и Дмитрий Карамзовы,

отец Карамазов, Ставрогин, Свидригайлов и прочие тишя суть воплощения полярно и альтернативно переживаемых сексуальных комплексов.

Борьбу свою между этими переживаемыми комплексами своей сексуальной жизни Достоевский именно воплотил в этих лицах и в их борьбе. Тут весь стержень, вокруг которого Достоевский строит эти комплексы—противоречия альтернативной формулы эпилептической полярности: «или—или».

В этих противоречиях вся душевная борьба Достоевского, ими заполнены все его произведения. Недаром все герои Достоевского эпилептики, истеричные. С гениальной интуицией он понимал, что законы полярности и альтернативности (вместе с законом извращения эмоциональной полярности) суть законы борьбы аффект-эпилептической психики. Если бы он воплотил эти специфические, эпилептически построенные комплексы не в эпилептиках и истеричных, то это, конечно, была бы величайшая ошибка. Понимая это интуитивно, он, как великий психо-патолог-художник, достиг в этом наивеличайшего.

Достоевский эти законы полярности, альтернативности сам прекрасно и образно формулировал. В известном диалоге Алеши и Мити Карамазовых относительно разврата, Алеша, между прочим, говорит: «...кто ступит на нижнюю ступеньку, тот все равно непременно вступит и на верхнюю»*).

Иначе говоря, если аффект-эпилептик вступил на первую ступень сексуальной жизни, он непременно и обязательно, по законам полярности и альтернативности, должен перейти к полярным переживаниям противоположного полюса сексуального разврата.

Для эпилептика нет умеренности, нет срединных переживаний: или Алеша (целомудрие, аскетизм), или—Ставрогин, Карамазовы и прочие (крайний разврат).

Какой бы стороны психики Достоевского мы не коснулись,—все переживания у него построены именно так. Вспомним его страсть к игре в рулетку, где он также доходит до пределов крайности.

Так же полярны его переходы в убеждениях от Петрашевца—фурьериста до крайнего консерватизма и слафиофильства. От крайнего атеизма (в религиозных чувствах) до мракобесия и религиозного ханжества, типичного для эпилептика.

Понимая законы полярности, нам делается понятным известное письмо — Страхова к Толстому**), которое приведем здесь, ибо оно характеризует его именно с этой стороны.

«Напишу Вам, бесценный Лев Николаевич, небольшое письмо, хотя тема у меня богатейшая. Но и нездоровится и очень долго

*) Курсив наш. (Г. С.).

**) Цит. из «Воспоминания А. Г. Достоевской», Госиздат, 1925 г.

бы было вполне развить эту тему. Вы, верно, уже получили теперь биографию Достоевского—прошу Вашего внимания и снисхождения—скажите, как Вы ее находите?

И по этому-то случаю хочу исповедаться перед Вами. Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство.

Пособите мне найти от него выход.

Я не могу считать Д. ни хорошим, ни счастливым человеком (что в сущности, совпадает).

Он был зол, завистлив, развратен и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей и самым счастливым.

По случаю биографии я живо вспомнил все эти черты. В Швейцарии, при мне, он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: «Я ведь тоже человек».

Помню, как тогда же мне было поразительно, что это было сказано проповеднику гуманности и что тут отозвались понятия вольной Швейцарии о правах человека. Такие сцены были с ним беспрестанно, потому что он не мог удержать своей злости.

Я много раз молчал на его выходки, которые он делал совершенно по-бабьи, неожиданно и непрямо, но и мне случилось раза два сказать ему очень обидные вещи. Но, разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными людьми, и всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что... в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие,—это герой «Записок из Подполья», Свидригайлов «Преступление и наказание» и Ставрогин в «Бесах». Одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, а Д. здесь читал ее многим.

При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаньям, и эти мечтанья—его направления, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости. Как мне тяжело, что я не могу отделаться от этих мыслей, что не умею найти точки примирения.

Разве я злюсь? Завидую? Желаю ему зла? Нисколько! Я только готов плакать, что это воспоминание, которое могло бы быть светлым,—только давит меня. Припоминаю Ваши слова, что люди, которые слишком хорошо нас знают, естественно, не любят нас.

Но это бывает и иначе. Можно при (долгом) близком знакомстве узнать в человеке черту, за которую ему потом будешь все прощать. Движение истинной доброты, искра настоящей сердечной теплоты, даже одна минута настоящего раскаяния—может все загладить; и если бы я вспомнил что-нибудь подобное у Д., я бы простил его и радовался бы на него. Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная и литературная гуманность—боже, как это противно!

Это был истинно несчастный и дурной человек, который вообразил себя счастливецом, героем и нежно любил одного себя. Так как я про себя знаю, что могу возбуждать сам отвращение и научился понимать и прощать в других это чувство, то я думал, что найду выход и по отношению к Д. Но не нахожу и не нахожу.

Вот маленький комментарий к моей биографии; я бы мог записать и рассказать и эту сторону в Д., много случаев рисуются мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее; но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем».

Из этого письма Страхова мы, во-первых, видим, что Страхов не понимал личность Достоевского, если он приписывал ему всякие «пакости». Дело тут не в «пакостях», а в той своеобразной структуре психики аффект-эпилептика Достоевского, в его невольном тяготении к полярностям.

Что он, по словам Страхова, был «зол, завистлив, развратен», и что он всю «жизнь провел в таких волнениях, которые делали его «жалким», и что с другой стороны—он был «проповедником гуманности» и «расположен к сентиментальности»—то это только выражение тех 2-х полюсов, тяготеющих и отталкивающихся друг от друга, о которых шла речь выше. Это есть биологический закон психической структуры аффект-эпилептического типа гениальности—и тут подходить с мерками мещанской морали «хорошо» и «плохо» совершенно неуместно. Совершенно верно, что он «не мог удержать своей злости», что он «этим услаждался» и что он способен был в своих полярных переживаниях сделать какие угодно «пакости», и что в нем могли «ужиться с благородетвом всякие мерзости».

Но Страхову, конечно, нужно было видеть Достоевского «героем» на пьедестале в написанной им биографии. «Пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем» (говорит он относительно своего изображения Достоевского в им написанной биографии). Увы! Сколько литературных фарисеев и мещан именно «работают» по такой формуле; «выставлять лицевой стороною

жизнь своих героев, а правда—чорт с ней»,—рассуждают они, «пусть эта правда погибнет».

Нам, эвропатологам, как объективным исследователям биологии великих людей, нужно также добросовестно изучать и «пакости» и «злость» великого человека, как химик, который не разбирается в своих исследованиях—какие запахи ему приятны и какие ему лично противны.

Можно лишь пожалеть, что Страхов, как живой свидетель ценных фактов жизни Достоевского, скрывал «правду» в биографии Достоевского, а в вышеупомянутом письме к Толстому выразил непонимание личности Достоевского.

Эдгар Поэ.

У Эдгара Поэ мы также можем установить закон полярности и альтернативности, как непремennую сущность аффект-эпилептической психо-конституции. При изучении жизни Поэ мы находим резкие колебания в его настроениях и в эмотивной сфере. То он подвержен приступам угнетения, страха—«меланхолии», как он выражается сам, то приступам повышенного возбуждения и необычайного экстаза, во время которых он создает блещиство своих произведений. Наоборот, во время приступов «меланхолии» он не мог создавать ничего—это были для него «стерильные периоды» (как называла эти периоды его теща Frau Clemm).

Вследствие таких полярно-альтернативных колебаний в его психических реакциях, Поэ производил самое различное впечатление, а потому получал самую противоречивую оценку. Если с ним сталкивались в период переживаний экстаза, он производил прямо чарующее впечатление; кто же имел дело с ним в период противоположных переживаний — в период раздражительности, тот невольно вступал с ним в спор и втягивался в ссору,—создавались столкновения, оставлявшие неприятное и тяжелое впечатление. Вот почему мы имеем такую оценку его личности, какую дал его приятель Willis, который характеризовал его, как «человека с тяжелым характером» (оценка, которая всегда дается аффект-эпилептическим натурам, ввиду постоянной альтернативности полярно построенных реакций на внешний мир).

Альфред Мюссэ.

Об эмоциональной полярности Мюссэ мы можем судить по следующему отрывку:

«Мюссэ был восхитителен и казался вполне достойным своих прекрасных сочинений, но зато минуты блаженства сменялись самыми ужасными контрастами, когда он был одержим каким то бесом жестокости, надменности, безумия, деспотизма и какой то злобы, доходившей до мрачной экзальтации (из письма артистки Аллан о Мюссэ).

Симптомы извращения полярных реакций у гениальных аффект-эпилептиков.

Помимо симптомов полярности и альтернативности в психической структуре аффект-эпилептического типа, мы также отмечали выше симптом извращения полярных реакций.

Под симптомом извращения полярных реакций мы выше определяли то психическое состояние, когда аффект-эпилептик вместо одного вида полярных переживаний (положительного полюса) переживает другой вид полярности (отрицательного полюса), благодаря извращению (или подстановки) полюсов. Пример: аффект-эпилептик, переживая полярно эмоцию любви, вместо любви проявляет утонченную жестокость—садизм, как выражение этой же любви, дошедшей до пределов. Тут положительный полюс эмоции заменен (или извращен) отрицательным полюсом той же эмоции—жестокостью, садизмом. Конечно, виды и формы извращения могут быть самые различные. Здесь мы имеем тип прямого извращения полярных реакций эмоциональности одного полюса другим полюсом.

Но мы можем иметь тип и другого рода извращения полярности: тип парадоксального извращения, когда какая-нибудь полярность, скажем, эмоциональная, извращается (или замещается) интеллектуальной или волевой полярностью или наоборот. В таких случаях мы имеем так называемые—эпилептические «эквиваленты», когда, скажем, волевая полярность—эпилептический припадок—замещается или извращается интеллектуальной аурой, или «*retit mal*» или какими-нибудь эквивалентами интеллектуального или эмоционального характера. В других случаях эмоциональная полярность—экстаз или депрессия—извращается или заменяется также волевой полярностью—припадком, гипербулией и проч.

Так или иначе, для нас здесь эвропатологическое значение имеет самый факт извращения этой полярности или по типу прямого извращения: полюс отрицательный извращается полюсом положительным (или наоборот); или по типу парадоксального извращения, когда положительный полюс одной сферы замещается положительным или отрицательным полюсом другой сферы (напр., интеллектуальная положительная полярность извращается эмоциональным положительным или отрицательным полюсом (или наоборот).

В понимании симптоматиологии гениальной личности аффект-эпилептического типа, а также в понимании симптомов творческих приступов этой личности, этот специфический психомеханизм и структура играют колоссальную роль. Без понимания этих особенностей трудно понять эту личность.

Для иллюстрации вышеприведенных симптомов извращения полярности приведем переживания таких гениальных аффект-эпилептиков.

Флобер

Вся жизнь Флобера и его произведения иллюстрируют нам его душевные муки и борьбу между 2-мя полярно-переживаемыми эмоциями любви: между аскетизмом, «платонической» любовью и проституцией. Мало того, что эти комплексы переживаются им альтернативно (по формуле: «или—или»), но они еще переживаются по закону извращения этих полярностей.

Сам Флобер говорит так о своей любви:

«Я никогда в жизни не мог посетить кокетку... может-быть у меня извращенный вкус, но я люблю проституцию ради проституции, независимо от того, что под ней кроется. Я никогда не мог пройти мимо этих декольтированных женщин, стоящих под фонарем в дождливую погоду, без того, чтоб у меня от волнения сердце не билось. Точно также монашеское одеянье, опоясанное узловатыми веревками—меня волнует.

В последние годы пребывания в Париже, я, бывало, сажусь летом в знойные вечера против Fortone и во время захода солнца я смотрю, как проходят девушки мимо меня. Я упиваюсь тут истинно библейской поэзией.

Я вспоминаю проституцию времен идолопоклонства, того времени, когда проституция входила, как акт священнодействия... И пусть меня дьявол возьмет, если я был невиннее когда-нибудь в моей жизни, чем тогда...

...Я гулял взад и вперед по этим местам и раздавал им (проституткам) деньги; допускал их к себе, чтоб они со мной разговаривали, звали с собой, хватали меня за руку и хотели меня потащить к себе домой... Но я воздерживался только для того, чтоб видеть их меланхолический и отчаянный взгляд, чтоб дать на себя воздействовать до глубины души. Нет ничего восхитительнее, как эти женщины, которые меня зовут!

Еслиб я поддался этому зову, то вся красота пропала бы».

Мы имеем здесь извращения полярных переживаний такого рода: или аскетическое целомудрие извращается (resp. замещается) любовью к крайней степени проституции, идеализация этой проституции; или проституция извращается в нечто священнодейственное, идеализированное так же, как и аскетизм святых. Одна крайность замещается другой. Недаром у Флобера эти проблемы борьбы между аскетизмом и проституцией составляли любимейшие темы его произведений (напр., «Испытания Св. Антония»). Помимо этого мы видим у Флобера садистическое наслаждение при виде страдающих с «меланхолическим взглядом» женщин, предлагающих себя в горькой нужде.

Вообще, всевозможные извращения всегда составляли стихию Флобера.

Достоевский.

Симптомы извращения полярных переживаний также чрезвычайно ярко выражены и у Достоевского. Можно сказать, что у него все основы психической структуры зиждется на разря-

дах извращения полярных переживаний. Констатированный в свое время Михайловским, Тургеневым и современными критиками садизм Достоевского есть именно результат этого симптома извращения полярных разрядов.

С одной стороны садизм и с другой стороны вся «надрывная» проповедь Достоевского о страдании, самоотречении от земных благ, его экстатическая проповедь нравственных мук и вообще его тенденция быть «ультра христианнейшим» моралистом—все это результат 2-х полюсного тяготения к извращению этой полярности, где одно может заменить другое, несмотря на противоречивость этих явлений.

...Я за тебя и за твоих,—писал Достоевский своему брату Михаилу в 1847 году,—готов жизнь отдать, но иногда, когда сердце мое плавает в любви, не добьешься от меня ласкового слова. Мои нервы не повинуются мне в эти минуты... Помню, как иногда я нарочно злился на Федю, которого любил в то же самое время даже больше тебя. Я тогда только могу показать, что я человек с сердцем и любовью, когда самая внешность, обстоятельства, случай вырвут меня насильно из обыденной пошлости, до того времени я гадок. Неравенство это я приписываю болезни».

В этом отрывке лучше всего выражен симптом извращения эмоциональной полярности у Достоевского. «Когда сердце мое плавает в любви, не добьешься от меня ласкового слова», ибо полюса здесь замещаются: положительный полюс (любви) отреагируется замещенным отрицательным полюсом («злостью»).

В другом месте он об этом говорит так: «есть что-то веселящее в страдании ближнего», т. е. страдание человека доставляет удовольствие ему, смотрящему.

И действительно: излюбленным коньком его в его произведениях—любоваться мученьем и страданьем своих героев и от этого приходиться в экстаз. Он выдумывает муки и мучительство только потому, что это волнует его сексуально. Это процесс «расписывание удовольствия любителя», как про него выразился Тургенев.

Его интерес к «сладоэротикам», наконец, приписываемое ему Страховым изнасилование девочки и все прочие извращения сексуальной жизни Достоевского—есть не более, как выражение вышеупомянутого симптома, свойственного в той или иной форме аффект-эпилептическому типу.

Все вышеприведенные данные нам достаточно ясно обрисовывают основные черты структуры аффект-эпилептической психики.

Только уяснив эту психическую структуру нам понятна будет и психическая структура гениальных аффект-эпилептиков, как отдельной группы среди великих людей, отличающихся особым конституциональным состоянием.

Мы увидим, при дальнейшем изучении, в последующих работах, что эта группа будет резко отличаться от других групп.

как своим особым психо-механизмом проявления своей личности, так и особым механизмом своих творческих приступов именно в зависимости от этих основных симптомов.

Мы будем иметь особый специфический тип гения, как такового, со специфической семнотикой и со специфической симптоматологией его творческих приступов. Причем, эта симптоматология творческого приступа будет именно зависеть от специфической симптоматологии структуры этого типа (resp. от перечисленных симптомов аффект-эпилептической психики данного типа). Следовательно, зная психическую структуру данного типа, мы не только можем построить симптоматологию, диагностику, дифференциальную диагностику этой формы гениальности, но также и симптоматологию, диагностику, дифференциальную диагностику творческого приступа и творческое произведение такого типа.

Таким образом, на симптомах полярности и альтернативности, а также на симптомах извращения симптомов полярности, можно будет построить всю специальную (или частную) европатологию гениальных эпилептиков, как таковую.

Резюмируем все до сих пор сказанное в следующих положениях.

1. Аффект-эпилептическая конституция есть единственная форма, из всех других форм эпилептических конституций, которая наиболее часто встречается у великих и замечательных людей.

2. Эта форма эпилепсии, как форма не только не уничтожающая полноценность личности, но и вследствие своих особенностей повышающая ценность личности с кумулятивными задатками, лучше всего способствует разряду той формы гениальности, которую необходимо выделить, как аффект-эпилептический тип. (Этот тип можно было-бы выделить также, как «эвролентический тип гениальности»).

3. Симптомы, характеризующие структурные особенности психики такого типа, суть: симптомы полярности психических реакций, симптомы альтернативности этих реакций и симптомы извращения этих же полярных реакций. Из указанных основных симптомов вытекают структурно всякие другие психические симптомы.

4. На специфических особенностях такой симптоматологии в структуре аффект-эпилептического типа гениальности, мы можем построить специфическую симптоматологию и диагностику как данного типа гениальности вообще, как его творческого приступа, так и продуктов его творчества.

5. Построение специальной европатологии, аффект-эпилептического типа гениальности (или «эвролентического типа гениальности») может быть осуществлено, если мы будем исходить из вышеупомянутых положений.

Эвроэндокринология великих русских писателей и поэтов*).

Д-ра И. Б. Галант (Москва).

1. Лермонтов.

С генеалогической таблицей поэта.

Среди русских поэтов Лермонтов представляет собой одну из самых замечательных эндокринных личностей и единственный по своему необычайному интересу случай комбинированного взаимодействия желез с внутренней секрецией. Лермонтов напоминает эндокринологически то Наполеона, то Оскара Уайльда, в самом же деле он, помимо некоторых черт в строении тела и в характере, допускающих некоторое эндокринное родство с вышеупомянутыми личностями, остается вполне оригинальной личностью, как это у действительно великих гениев только и бывает. Лермонтов погиб совсем молодым, 27 лет от роду. Тем не менее его личность и талант к этому времени вполне определились и легко было бы на основании пройденного Лермонтовым жизненного пути предсказать дальнейшее его психофизическое развитие. Имея дело с законченным типом нам только и остается войти в глубь анализа эндокринологической его конституции.

Остановимся прежде всего на мозговом придатке (гипофизе), как на эндокринной железе, играющей преимущественную роль при развитии гениальных способностей, так что Верман дошел до того, что прямо таки локализирует гениальность в гипофизе, окрестив его «гнездом гениальности» (the nidus of genius). Из двух долей гипофиза, антепитуитарной и постпитуитарной, постпитуитарная доля взяла у Лермонтова в конечном счете верх в своем развитии, чем и объясняется все возрастающий успех Лермонтова, как поэта. Правда, и антепитуитарная доля гипофиза, дающая умственному развитию человека, главным образом, интеллектуальное направление, так что при качественно высокой гиперфункции передней доли гипофиза получают

*) Мы предполагаем, что читатели этой статьи знакомы с нашими предшествовавшими ей работами по эвроэндокринологии: «Эвропатология и эндокринология» и «Эвроэндокринология» обе во втором томе «Архива гениальности и одаренности», стр. 95-105 и стр. 225-261. 1926 г. Помимо этого понимание предполагаемых здесь статей по эвроэндокринологии рус. писателей и поэтов будет затруднено.

в результате интеллектуальные гении (гениальные ученые, изобретатели и т. д.), дала у Лермонтова хорошие ростки, возвысив его интеллектуально над его ровесниками. Это видно хотя бы из следующего инцидента. В университете Лермонтов отвечает профессору, недовольному почерпнутыми Лермонтовым материалами по излагаемому им вопросу: «Это правда, господин профессор, Вы нам этого, что я сейчас говорил, не читали и не могли читать, потому что это слишком ново и до Вас еще не дошло. Я пользуюсь научными пособиями из своей собственной библиотеки, содержащей все вновь выходящее на иностранных языках». Мы видим, таким образом, что Лермонтов увлекался наукой и научное направление мысли было ему не более чуждо, чем поэтическое.

Интересно отметить, что сильная работа мысли началась у Лермонтова в детстве, когда он тяжело заболел неизвестно какой болезнью и оставался несколько лет в самом жалком положении. Есть основание думать, что известного рода заболевания действуют стимулирующе на эндокринные железы, особенно на гипофиз, улучшая количественно и качественно их функцию.

Вышеупомянутый же инцидент из студенческой жизни Лермонтова указывает на известную несдержанность аффектов, на своеобразие, которое у Лермонтова впоследствии все развивается и ведет его к ранней гибели. Аффективная сторона жизни, особенно такие ее нюансы, ведущие к гениальной аффективной жизни поэтов, музыкантов, композиторов, художников, писателей и т. д. стоит в связи с качественно высокой гиперфункцией постпитуитарной доли гипофиза, в которой следует искать и некоторые или даже большинство странностей аффективной жизни гениальных личностей.

Когда у Лермонтова начинает развиваться гиперфункция постпитуитарной доли, антепитуитарная доля гипофиза совершает некоторую регрессивную инволюцию, чем объясняется охлаждение Лермонтова к научной мысли. Вынужденный оставить за аффективную свою несдержанность Московский университет, Лермонтов не добивается высшего образования, а поступает в военную школу! Этот поступок Лермонтова крайне удивил его современников и так и остался для них загадкой. В и с к о в а т ы й пишет по этому поводу: «Часто приходится слышать недоумение или порицание тому, что Лермонтов мог перейти из университета в военную школу, которая представляла своим строем и программой воспитательное заведение, стоявшее несравненно ниже университета. Кажется непонятным, как развитой студент Московского университета мог решиться на такую перемену и не только вступить, но и окончить воспитание в школе».

То, что оставалось в Л е р м о н т о в е непонятным его современникам и последующим поколениям, делается совершенно ясным на основании эндокринологического анализа его личности.

Только регресс антепитуитарной доли гипофиза в связи с совершающимся на счет этого регресса функциональной гиперактивности и постпитуитарной доли могло довести Лермонтова к охлаждению к научной мысли с одной стороны и к увлечению военным искусством с другой.

Для объяснения и всестороннего выяснения самого важного поворотного пункта в жизни Лермонтова, каким является поступление его в юнкерскую школу, недостаточно сослаться на основное изменение в эндокринной его конституции, заканчивающееся к этому периоду, но следует отыскать глубокие корни этого конституционального превращения личности поэта на 17 году жизни, корни, которые мы легко найдем в его наследственности, точнее—в целом ряде гередофамильярных особенностей эндокринного характера.

Аффективная несдержанность, своеволие вплоть до самодурства основная наследственная черта Лермонтова. Эту черту мы находим у всех родственников—и у Столыпиных, и у Арсеньевых и у Лермонтовых (см. генеалогическую таблицу), у одних она сильнее, у других слабее выражена. Вспыльчивость, упрямство, самодурство живут между прочим в тесной связи со значительной одаренностью по линии Столыпиных: «Бабушка Лермонтова—Елизавета Алексеевна, урожденная С т о л ы п и н а, дочь Пензенского помещика А. Е. С т о л ы п и н а—человека для своего времени весьма образованного и развитого, увлекавшегося театром, охотника до кулачных боев и побед, давшего своему многочисленному семейству отличное воспитание. Многие из членов этой семьи представляют собой людей с недюжинным характером, самостоятельных и даровитых. Старший брат Елизаветы Алексеевны—Александр Алексеевич—ад'ютант Суворова, Д. А.—генерал-лейтенант, А. А.—оберпрокурор сената, с ним был в деятельной переписке Сперанский.

Эти немногочисленные сведения об одаренных родственниках Лермонтова по линии Столыпиных объясняют до некоторой степени внезапное, мало понятное влечение поэта Лермонтова к военному искусству. Оказывается военное ремесло не было чуждо одаренным родственникам Лермонтова, которого надо считать прямым продолжателем их одаренности. Неудивительно поэтому, что в Лермонтове вместе с одаренностью пробудился и воинственный инстинкт. *) Это тем менее удивительно, что «солдатский дух» сохранился и у более или менее выдающихся женщин из семьи Столыпиных. «Одна из сестер бабушки, Екатерина Алексеевна, отличалась «неустрасимым характером». Живя близ Пятигорска в своем имении, часто подвергавшемся нападению горцев, она мало обращала внимания на опасности. Если тревога пробуждала ее от ночного сна, она спрашивала о причине звуков набата, не пожар ли? Когда ей докладывали, что это не пожар, а набег, то она спокойно поворачивалась

*) И отец Лермонтова, Юрий Петрович, был военный!

на другую сторону, и продолжала прерванный сон. Бесстрашней доставило в кругу родных и знакомых шуточное название «агаягардной дамы». Сама Елизавета Алексеевна была среднего роста, стройна, со строгими решительными, но весьма симпатичными чертами лица, держалась она прямо, всем говорила ты, никогда не стеснялась высказать, что считала справедливым. Настойчивый и решительный характер в молодые годы носил на себе печать повелительности и, может быть, отчасти деспотизма. Строгий повелительный вид доставил ей имя «Марфы-Посадницы» среди молодежи—товарищей Михаила Юрьевича по юнкерской школе».

После всех этих данных наследственности, принимая к тому во внимание, что Лермонтов в детстве жил на Кавказе в тревожной обстановке, находящейся на военном положении страны и рано впитал в себя впечатления военного быта, мы будем считать склонность Лермонтова к военному делу вполне естественным и как бы необходимо вытекающим из всех стекающихся обстоятельств, как наследственности так и жизни поэта. Надо предполагать, что Лермонтов и помимо вышупомянутых инцидентов в Московском университете так или иначе нашел бы внешний повод в своей жизни, чтобы перейти на военное поприще. Это была для Лермонтова биологическая необходимость, вытекающая из его наследственности.

Таким образом, то, что являлось для Висксватого и других современников и биографов Лермонтова загадкой, находит свое объяснение в эндокринной наследственности поэта, которая сначала шла вся по линии Столыпинах. У Столыпинных мы имеем перед собой выдающихся людей с высокой интеллектуальной одаренностью, итак людей с антепитуитарной гиперфункцией, которая отмечалась вначале и у Михаила Юрьевича. Однако, у Лермонтова вступает в свои правадиссоциирующий элемент психики, дающий его гению не анте, а постпитуитарное направление.

Диссоциирующий элемент психики вкрался в конституцию Лермонтова по линии матери со стороны Арсеньевых и затем по линии самих Лермонтовых. Дедушка Лермонтова по матери, Михаил Васильевич Арсеньев, был повидимому неуравновешенный человек, не сумевший выбраться по добру по здорову из какой-то любовной интриги. «Будучи влюблен к княжну, живущую по соседству, он однажды на балу, устроенном в их доме, тщетно ожидал ее прибытия. Елизавета Алексеевна выслала навстречу княжне своих слуг с отказом. Последняя вернулась домой, прислав Михаилу Васильевичу записку, по прочтении которой он принял смертельную дозу яда. Умер 42 лет.

Не более отрадная картина психоконституционального развития Марии Михайловны, дочери Михаила Васильевича и матери поэта. Она была с детства «ребенком слабым и болезненным, и взрослая все еще выглядела хрупким, нервным созданием.

Она была очень сентиментальна и мечтательна, отличалась исключительной добротой; тяжело больная, в злой чахотке сама обходила нуждающихся крестьян, лечила их, помогала им в беде. В Тарханах долго помнили, как тихая бледная барыня, сопровождаемая слугою-мальчиком, носившим за нею лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешением и помощью, помнили, как возилась она с болезненным сыном. Мария Михайловна была одарена музыкальной душой. Посадив ребенка своего к себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, пела ему, а он, прильнув к ней головкой своей, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его душу и слезы катились. Мать передала ему необычайную нервность свою. Всегда они были вместе—эта тоскующая мать и ребенок. Она писала в альбом стихи, а сын тут же набрасывал свои первые детские рисунки. С мужем Мария Михайловна жила нехорошо: вскоре после свадьбы вышли недобрые столкновения из-за проживающей у Юрия Петровича особы, занимавшей место, на которое имела право только его жена. На 22-м году Мария Михайловна скончалась от туберкулеза.

Диссоциирующий момент психики со стороны матери был не совсем неблагоприятный для поэта, ибо при всей болезненности характера Марии Михайловны, она владела некоторым музыкальным и поэтическим талантом. Но зато диссоциирующий момент в сторону постпитуитарного направления характера и гения поэта со стороны отца был безусловно менее благоприятным. «Юрий Петрович—отец Лермонтова—был человек вспыльчивый, подчас грубый самодур. Вспыльчивость давала повод к весьма грубым и диким проявлениям. В одну из поездок он поднял руку на свою жену. Немногие, помнящие Юрия Петровича, называют его красавцем-блондином, сильно нравящимся женщинам, привлекательным в обществе, веселым собеседником, «*bon vivant*», как называет его воспитатель Лермонтова — Зинovieв.

Итак, нам теперь после краткого просмотра эндокринной наследственности Лермонтова (пока что одной только наследственности питуитарной железы) с вытекающей из нее для Лермонтова диссоциирующей силой в сторону постпитуитарного направления гениальной его одаренности и общей психоконституции вполне ясен и понятен самый важный поворотный пункт в жизни и деятельности поэта, о котором говорилось выше и который до эндокринологического анализа Лермонтова оставался загадкой. Займемся теперь дальнейшим анализом эндокринной личности Лермонтова.

Что Лермонтов по всей своей эндокринной конституции является прежде всего постпитуитариком, с сильными колебаниями функции питуитарной железы об этом говорит между прочим хотя бы половая и психосексуальная жизнь поэта, которая во многом напоминает сексуальную жизнь другого великого питуитоцентрика с постпитуитарической не-

достаточностью подверженной сильным колебаниям, Наполеона I. Конечно, Лермонтов, как гениальный поэт, не мог отличаться такой психосексуальной тупостью, как Наполеон, все же нечто в этом роде наблюдается у Лермонтова. Известно, что Наполеон не умел любить и влекла его к женщине чисто половая сторона ее. Все женщины были для Наполеона *filles de joie* и он после удовлетворения плоти сейчас же совершенно забывал «предмет» своего увлечения. Страсть у Наполеона так же быстро проходила, как и являлась, и не только постоянных, но даже длительных связей с женщинами у Наполеона не было.

Но у Наполеона была выраженная недостаточность постпитуитарной железы, у Лермонтова же были только сильные колебания в сторону недостаточности постпитуитарной железы особенно в те периоды жизни, когда у него замечался сильный уклон в сторону антепитуитаризма. В детские годы у Лермонтова отмечается склонность к разрушению и жестокости. В саду он ломал кусты, без нужды срывал лучшие цветы, чтобы усеять ими дорожки, с наслаждением давил мух и очень радовался, когда сбивал с ног курицу, брошенным в нее камнем. В переходные же годы (16-20 лет), когда Лермонтов переходит от антепитуитаризма к постпитуитаризму у него отмечаются очень сильные колебания характера известной недостаточности не вполне окрепшей, в назревающем развитии постпитуитарной железы. От этого отсутствие глубины чувств симпатии к другим людям, как и вообще глубины чувств, не только альтруистических. Лермонтов не знает в этот период настоящей любви к женщине и изливается в грязных эротических фантазиях. В журнале «Школьная заря», издаваемом юнкерами в 1834 г., Лермонтов помещает поэмы, отталкивающие своим цинизмом и грязью, так что читать его произведения считается неприличным увлечением порнографией. В этот же период Лермонтов отличается изысканной жестокостью даже по отношению к беззащитным женщинам. Встретившись вновь с Е. А. Х в о с т о в о й, которая отвергла его любовь к ней 5 лет тому назад, Лермонтов решил отомстить ей. Он снова начинает за ней ухаживать «из расчета», в чем сознается в письме к Верещагиной. Мстит за прошлое, компрометируя ее перед светом и, наконец, когда родители ее считали его уже женихом, он шлет анонимное письмо, в котором уговаривает изгнать Лермонтова из дома, при этом описывает про себя всякие ужасы».

При всей глубине поэтических своих чувств, Лермонтов в общем не умел вне немногих минут поэтического вдохновения долго и глубоко любить, несмотря на то, что Котляревский говорит, что он (Л е р м о н т о в) это умел. Лермонтов «менял женщин как перчатки», и авторы в состоянии привести одну только любовь Лермонтова к Лопухиной, как пример бескорыстной, глубокой и продолжительной любви поэта. Но как же кончается эта «идеальная» любовь Лермонтова? Приблизительно

так же, как его любовь к Хвостовой! Почувствовал Лермонтов силу своей любви, когда Л о п у х и н а вышла замуж за Бахметьева, и Л е р м о н т о в после этого метил Л о п у х и н о й всю жизнь, осмеивая Б а х м е т ь е в а. Но не только в жизни, даже в поэзии Л е р м о н т о в большой скептик любви:

Любить. Но кого же?

На время не стоит труда.

А вечно любить невозможно...

Устами же Печорина Л е р м о н т о в говорит о любви и женщинах: я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность их радость и страдания, и никогда не мог насытиться: некстати было бы мне говорить о них с такой злостью, мне, который кроме них ничего на свете не любил, мне, который всегда готов им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнью. Но я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, все, что я говорю о них—есть следствие «ума холодных наблюдений и сердца горестный полет». Первое страдание дает удовольствие мучить другого... Я был готов любить весь мир, меня никто не понял, и я выучился ненавидеть».

И еще:

«Есть необъятное наслаждение в обладании молодой едва распутившейся души. Она, как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца, его надо сорвать в эти минуты и, подышав им досыта, бросить на дороге, авось кто-нибудь поднимет (1). Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути, я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти, честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом; ибо честолюбие есть ничто иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие—подчинять моей воле все, что меня окружает. Возбуждать в себе чувство любви, преданности и страха не есть ли первый признак и величайшее торжество власти... Есть минуты, когда я понимаю Вампира, а еще слышу добрым малым и добиваюсь этого названия».

Может быть знакомство с этими документами, характеризующими в достаточной степени личность Лермонтова, сделает многим понятным, непонятное и странное даже на первый взгляд, сравнение Лермонтова с Наполеоном, два гения внешне так далеко непохожих друг на друга, как север и юг. Мы хотим сказать, что внешнее положение в свете, течение жизни и проявление гениальных способностей, не допускает у Лермонтова и Наполеона сравнения, но их внешность, как мы после увидим, имеет много сходства. Но эндокринное сходство этих двух питуитоцентрических личностей так и напра-

шивается на сравнение. Страсть Лермонтова к военному делу, честолюбие, жажда власти и славы, стремление подчинить всех и все своей воле—Наполеоновские черты характера, которые, при преимущественно эмоциональном, а не интеллектуальном гении Лермонтова, не могли бы сделать из Лермонтова даже при благоприятных к тому стечениях обстоятельств жизни подобие Наполеона.

Но Л е р м о н т о в увлекается Наполеоном, чувствует свое к нему душевное, мы бы сказали, эндокринное родство, и Н а п о л е о н для Л е р м о н т о в а хотя и не живой человек, но и не мечта:

В неверный час, меж днем и темнотою,
Когда туман синее над водой,—
В час грешных дум, видений, тайн и дел,
Которых луч узреть бы не хотел,
А тьма укрыть,—чья тень, чей образ там,
На берегу, склонивши взор к волнам,
Стоит вблизи нагбенного креста?
Он—не живой, но также не мечта
Сей острый взгляд с возвышенным челом
И две руки, сложенные крестом.

.....
Нередко внемлет житель сих берегов
Чудесные рассказы рыбаков:
Когда гроза бунтует и шумит,
И блещет молния, и гром гремит,
Мгновенный луч нередко озарял
Печальну тень, стоящую меж скал.
Один пловец, как ни был страх велик,
Мог различить недвижный смуглый лик
Под шляпою с нахмуренным челом
И две руки, сложенные крестом.

(Из стихотворения: «Наполеон» (дума)).

А в «Эпитафии Наполеону» Лермонтов пишет:

Да, тень твою никто не порицает,
Муж рока! Ты с людьми—что над тобою рок.
Кто знал тебя возвесть, лишь тот низвергнуть мог,—
Великое ж ничто не изменяет.

Л е р м о н т о в воспеваеет Наполеона и во многих других стихотворениях: «Наполеон», «Св. Елена», «Воздушный корабль», «Новоселье». Веаде Наполеон является для Лермонтова чуть ли не величайшим гением человечества:

Сын моря, средь морей твоя могила!
Вот мщенье за муки стольких дней!
Порочная страна не заслужила,
Чтобы великий жизнь окончил в ней
Изгнанник мрачный, жертва вероломства
И рока прихоти слепой

Погиб, как жил,—без предков и потомства
Хоть побежденный, но герой!
(«Св.Елена»).

И грустно мне, когда подумаю, что ныне
Нарушена святая тишина
Вокруг того, кто ждал в своей пустыне
Так жадно столько лет—спокойствия и сна!
И если дух вождя примчится на свиданье
С гробницей новою, где прах его лежит,
Какое в нем негодование
При этом виде закипит!
Как будет он жалеть, печалию томимый,
О знойном острове под небом дальних стран,
Где сторожил его как он, непобедимый,
Как он, великий, океан!
(«Последнее новоселье»).

«Умолкни, о певец!—спеши отсюда прочь,
С хвалой иль язвою упрека
Мне все равно, в могиле вечно ночь,
Там нет ни почестей, ни счастья, ни рока!
Пускай историю страстей
И дел моих хранят далекие потомки;
Я презрю песнопенья громки,—
Я выше и похвал, и славы, и людей!»
(«Наполеон»).

Все эти стихотворения говорят за то, что увлечение Наполеоном у Лермонтова было не мимолетным, что Лермонтов считал Наполеона непосягаемым и недостигаемым гением и чувствовал родство своего духа и гения с гением Наполеона. Не было ли действительно такого родства между Лермонтовым и Наполеоном? Нет основания опровергать его совершенно если сам Лермонтов его чувствовал.

Мы нашли возможность сравнить отношение Лермонтова к женщинам с таковым Наполеона и отрицали у Лермонтова в жизни (а не в поэзии!) глубину и постоянство чувств и вообще умение любить. Лермонтов не женился, хотя очень часто любил, и видимо не очень увлекался и «физиологией любви». Биография Лермонтова ничего не сообщает о половой его жизни, и Лермонтов должно быть не злоупотреблял или не слишком злоупотреблял *in vascho et in venere*. Не удовлетворял ли Лермонтов половую страсть, сочиняя поэмы с грязно эротическим содержанием?.. Однако, не в этом суть. Важно отметить, что Лермонтов смотрел легко на любовь и самую сильную «страсть» он переживал десятилетним мальчиком, чтобы никогда после не переживать ее взрослым: «Кто поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду? Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти.

Я ее видел там. Я не помню хороша собой она была или нет, но ее образ и теперь еще хранится в голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз,—я помню,—я вбежал в комнату; она была тут и играла с кузиной в куклы; мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая: это была истинная любовь. С тех пор я еще не любил так... И так рано! Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины, желал ее видеть, а когда она приходила,—я не хотел или стыдился войти в комнату. Я не хотел говорить с ней и избегал, слыша ее имя (теперь я забыл его), как бы страшась, чтобы биевые сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда, и голубые мне неловко как-то спросить об этом. Белокурые волосы, длинные глаза, быстрые... нет, с тех пор я ничего подобного не видел, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в этот раз. Горы кавказские для меня священны.. И так рано, в десять лет!.. О! это загадка, этот потерянный рай до могилы будет терзать мой ум!. Иногда мне странно, и я готов смеяться над этой страстью—но чаще плакать! Говорят (Б а й р о н), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки!

Л е р м о н т о в был поэт, гениальный поэт. Неудивительно поэтому, что в минуты вдохновения у него бывали страстные порывы, чувства, которые по своей глубине и вдохновенной страсти недоступны простым смертным. В жизни же Лермонтов очень часто подавал признаки постпитуитарной недостаточности, которая особенно давала себя чувствовать бедностью альтруистических чувств и странностями в половой, особенно, психосексуальной жизни, где дело доходило до изысканной жестокости по отношению к незащитным женщинам*).

На одной своей питуитарной железе при недостаточности других желез с внутренней секрецией Л е р м о н т о в далеко бы не уехал, тем более, что сама эта питуитарная железа, храня в себе гениальные задатки, имела свои слабые стороны вплоть до недостаточности в некоторых сферах эмоциональной жизни. К счастью, у Л е р м о н т о в а, помимо питуитарной железы оказались и другие эндокринные железы на высоте функциональной своей деятельности.

Здесь прежде всего надо остановиться на живой функции надпочечников у Лермонтова, на что указывает воинственный его характер, бесстрашие и подчеркнутая живость характера. Несмотря на то, что Лермонтов, как это можно видеть из многих его стихотворений, легко поддавался байронизму и байроническим настроениям, впадая в безнадежность и отчаяние:

*) Надо думать, что известная недостаточность постпитуитарной железы вне поэтического вдохновения стоит у Лермонтова в связи с ее истощением после акта творчества.

И скучно, и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды.
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят—все лучшие годы!
Любить... но кого же?.. на время—не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь?—там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и все там ничтожно...
Что страсти!—ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка.
И жизнь, как помотришь с холодным вниманьем вокруг,
Такая пустая и глупая шутка...

Такие болезненные настроения Л е р м о н т о в а могут считаться слабыми отзвуками унаследованной от чахоточной матери одной болезненной складки души. Больше сказалась в Л е р м о н т о в е адрелинная наследственность со стороны бабушки Елизаветы Алексеевны и других Столыпиных *) и со стороны отца, который тоже был военным и в 1811 году вышел в отставку с чином капитана. Отец Лермонтова был типичный питуитарно-а д р е н а л и н н ы й тип, человек весьма горячего темперамента, вспыльчивый и временами грубый самодур. «Вспыльчивость давала повод к весьма грубым и диким проявлениям. В одну из поездок он поднял руку на свою жену. Немногие помнящие Юрия Петровича называют его красавцем-блондином, сильно нравящимся женщинам, привлекательным в обществе, веселым собеседником, «*bon vivant*», как его называет воспитатель Л е р м о н т о в а—З и н о в ь е в.»

Воинственный характер и бесстрашие Л е р м о н т о в а особенно выявились на Кавказе, где Л е р м о н т о в предпринимал частые и опасные вылазки против горцев, подвергал себя часто без нужды смертельной опасности и был даже временами кровожаден. В одном из своих писем Л о п у х и н у, Л е р м о н т о в описывает следующим образом бывшие в то время стычки: «У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось шесть часов сряду. Нас было всего 2.000 пехоты, а их (черкесов) до шести тысяч, и все время дрались штыками. У нас было 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте. Кажется, хорошо! Вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью». Такие жестокие бои особенно вдохновляли Л е р м о н т о в а, лира которого вообще-то была «поклонницей мундира»**) и

*) «Авангардная дама». «Марфа-посадница». Эти женщины, отличавшиеся сильно подчеркнутыми маскулинными чертами, являются подлинными представительницами адреналинного типа у женщин.

**) Но нет! Пстой, умолкни, лира!
Тебе-ль, поклоннице мундира,
Поганых фразных воспевать!..
(«Монго»).

военного дела. «Дело» на которое намекает здесь Л е р м о н т о в, было дело под Валериком (речка смерти), воспетое Л е р м о н т о в ы м в одном из лучших его поэтических произведений. В альбоме Л е р м о н т о в а, хранящемся в государственной публичной библиотеке, находится на-скоро набросанный поэтом на месте эскиз дела под Валериком,—собственно, начало этого дела, когда горцы внезапно напали на арьергард.

Л е р м о н т о в увлекался военным делом временами не менее чем поэзией и оказался и здесь вдохновенным полководцем, вселяющим дух бесстрашия, отваги и героизма в своих солдатах. До чего Л е р м о н т о в был бесстрашным, искал опасности и чувствовал себя в большой опасности хорошо, видно из следующего сообщения В и с к о в а т о г о: «Однажды во время стоянки Лермонтов предложил находящимся в отряде Льву Пушкину, Глебову, Палену, Сергею Долгорукову, Баумгартену и некоторым другим пойти поужинать за черту лагеря. Это было не безопасно и, собственно, даже запрещено. Неприятель окружал лагерь и выслеживал неосторожно от него удаляющихся. Взяли с собой деньщиков и расположились в ложбине за холмом. Лермонтов, руководивший всем, уверял, что, наперед избрав место, выставил часовых, и указал на одного казака, фигура коего виднелась сквозь вечерний туман. Огонь был разведен с предосторожностями, при чем особенно желали его сделать незаметным со стороны лагеря. Небольшая группа смельчаков пили и ели, разговаривая о возможности нападения горцев. Л е в П у ш к и н и Л е р м о н т о в сыпали остротами и комическими рассказами, при чем не обходилось без резких насмешек на разных, известных всем присутствующим, личностей. Особенно в ударе и веселье был Л е р м о н т о в, так что от слов его катились со смеху, забывая всякую предосторожность. Однако, все обошлось благополучно. Под утро, возвращаясь в лагерь, Л е р м о н т о в признался, что видневшийся часовой был не что иное, как поставленное им чучело. Таким образом, оказалось, что все пировали без всякого прикрытия, и следовательно подвергались великой опасности, которую сознавал только Л е р м о н т о в. Но это ему нравилось, может быть потому, что отвлекало от тяжелых дум».

Живость характера и беззаботную веселость доходящую до веселых ребяческих шалостей отмечает у Л е р м о н т о в а в последние годы жизни князь В а с и л ь ч и к о в, характеризующий Л е р м о н т о в а следующим образом: «В Л е р м о н т о в е было два человека: один добродушный для небольшого кружка ближайших своих друзей и для тех немногих лиц, к которым он имел особенное уважение, другой—заносчивый и задорный для всех прочих его знакомых. К этому первому разряду принадлежали в последнее время его жизни прежде всех С т о л ы п и н (прозванный им же Монго), Г л е б о в, бывший его товарищ по гусарскому полку, впоследствии тоже

убитый на дуэли, князь Ал. Ник. Долгорукий, декабрист М. А. Назимов и несколько других ближайших его товарищей. Ко второму разряду принадлежал, но его понятиям, весь род человеческий, и он считал лучшим своим удовольствием подтрунивать над всякими мелкими и крупным странностями, преследуя их иногда шутливыми, а весьма часто и язвительными насмешками». Князь Васильчиков прибавляет: «Лермонтов был шалун в полном ребяческом смысле слова и день его разделялся на две половины, между серьезными занятиями и чтением, и такими шалостями, какие могут притти в голову разве только 15-летнему школьному мальчику; напр., когда к обеду подавали блюдо, то он с громким смехом бросался на него, вонзал свою вилку в лучшие куски, опустошал все кушанья и часто всех оставлял без обеда. Чем больше и серьезнее он работал, тем, казалось, чувствовал большую необходимость дурачиться и выкидывать разные чудачества».

Не надо, однако, думать, что детские шалости и дурачливость являются особенностями личности Лермонтова в последние лишь годы его жизни. В юнкерской школе он был также известен своими проказами, шалостями и шутками, сделавшими ему «имя» в обществе. «Насмешливый, едкий, ловкий, вместе с тем полный ума, самого блестящего, богатый, независимый, он сделался душою общества молодых людей высшего круга, он был запевалой в беседах, в кутежах, словом всего того, что представляла жизнь в эти годы». И что важнее всего отметить, так это то обстоятельство, что этот беспокойный, неприятно бурный, склонный к недопустимым выходкам и детским шалостям характер Лермонтова не есть продукт воспитания в юнкерской школе, как это допускали многие, а самобытная черта характера Лермонтова, которая в юнкерской школе, может быть, получила много пищи для своего развития. В доказательство можно привести письмо одного из близких Лермонтову лиц по поводу слухов об исключении его из университета: «A. S. écrit a P., que vous avez un désagrément à l'université, et que ma tante enest malade; de grâce, écrivez moi ce que c'est. У нас все делают из мухи слона: tranquillisez moi de grâce,—pour mon malheur je vous connais trop pour pouvoir être tranquille; je sais, que vous êtes capable de vous couper la gorge avec le premier venu et pourz la premiere sottise—fi! C'est une honte: vous ne serez jamais heureux avec ce vilain caractère». Тот самый биограф Лермонтова, Дудышкин, приводящий это французское письмо, которое характеризует Лермонтова в университетские его годы, как человека падкого на всякие глупые выходки и вообще «гадкого характера», слышал от одного из товарищей Лермонтова следующий рассказ об исключении Лермонтова из университета. У профессора Ц. был ад'юнкт М., читавший теорию уголовного права. Любимой темой лекции М. было рассуждение о человеке. Все лекции М. начинал словами: «человек, который...»

М. заставлял и студентов поочередно писать на эту тему. Все писали неохотно и начинали словами: «человек, который...» Студенты не любили профессора. Однажды, едва М. вошел на кафедру и начал обычное: «человек, который...», студенты зааплодировали и крикнули: «fora!» «прекрасно!.. Это повторялось каждый раз, как только М. раскрывал рот. М., обращаясь к студентам, говорит: «Г.г.! Я должен буду уйти!»—а ему кричат «прекрасно!» М. идет из аудитории, из университета, а студенты идут за ним крича: «человек, который... bis! прекрасно...» и проводили его, таким образом, довольно далеко. По жалобе М., в числе исключенных был и Лермонтов».

Сам Л е р м о н т о в пишет после того, как он променял университет на юнкерскую школу М. А. Лопухиной: «Не могу представить себе, какое действие произведет на Вас моя великая новость—до сих пор я жил для поприща литературного, принес столько жертв своему неблагоприятному идолу, и вот теперь я воин. Быть может, тут есть особая воля providения. быть может, этот путь короче всех и если он не ведет к моей первой цели, может быть по нем дойду до последней цели всего существующего; ведь лучше умереть со свинцом в груди, чем от медленного старческого истощения». Что, опять шалость, «словесная шалость»! Увы, нет! В этой шалости было что-то пророческое. Шалость дуэлей свела Л е р м о н т о в а по его пророчеству «со свинцом в груди» в могилу.

Я говорю «шалость дуэлей», ибо Л е р м о н т о в не сражался на дуэлях, а выставял лишь грудь противнику, чтобы, как он писал Л о п у х и н о й, умереть «со свинцом в груди». Сражаясь на дуэли, Л е р м о н т о в и не думал взводить свой курок на противника, а поднимал пистолет дулом вверх. Так было на дуэли с Б а р а н т о м, так и на дуэли с М а р т ы н о в ы м, от руки которого Л е р м о н т о в погиб. И удивительно, до чего сбылся пророческий «Сон» Л е р м о н т о в а:

В полдневный жар, в долине Дагестана,
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилась моя.

Лежал один я на песке долины,
Уступы скал теснились кругом
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня—но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне;
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но, в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ея младая
Бог знает чем была погружена.

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той,
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей...

Эта «одна» была, пожалуй, бабушка Л е р м о н т о в а, Елизавета Алексеевна, преданно любившая знаменитого своего внука и ничего не жалевшая для его образования и благоденствия. Она имела несчастье пережить своего внука и горевала, убиваясь, о рано погибшем своем любимце.

Итак, мы убедились, что детская шаловливость, дополняющая живость, бодрость, неустрашимость и воинственность (а д р е н а л и н н ы е черты характера) Л е р м о н т о в а была не случайная черта его характера, навеянная какими-либо случайными внешними обстоятельствами, а основная, можно было бы сказать «врожденная» черта характера. Как объяснить э н д о к р и н о л о г и ч е с к и эту бросающуюся в глаза необычную черту характера Л е р м о н т о в а.

Приходится говорить об известном роде н и ф а н т и л и з м а у Л е р м о н т о в а, и втянуть в круг наших исследований те эндокринные железы, которые мы пока-что оставляли без внимания: половые железы, зубную железу, щитовидную железу.

Прежде чем буду говорить по существу вопроса об инфантилизме Л е р м о н т о в а, не могу не напомнить читателю, что и у Наполеона стмечался к концу жизни определенного типа инфантилизм, правда совсем не совпадающий с инфантильной особенностью характера Л е р м о н т о в а. Инфантилизм Наполеона находил свое выражение в том, что он писал в конце жизни произведения детского характера и отличался упадком энергии и детским самодовольствием. В е г н а п сводит инфантильное вырождение Наполеона на упадок функции питуитарной его железы. Совершенно другую картину мы имеем при инфантильной особенности характера Л е р м о н т о в а, известной нам, главным образом, как детская шаловливость.

Инфантильные черты в характере Л е р м о н т о в а, которые в слабой степени можно установить и в строении его тела, нужно рассматривать как результат задержки развития, правда незначительной, в детские годы. Эта задержка находит свое объяснение в сильной болезненности Л е р м о н т о в а в детские годы. Родившись от туберкулезной матери, Л е р м о н т о в в детстве много болел рахитом, золотухой и другими болезненными состояниями, характер которых не выяснен. Л е р м о н т о в был в детстве целыми годами прикован к постели и находился таким образом в таком жалком положении, при котором нормальное развитие человека, даже в те годы, когда тенденция к развитию у него самая большая, немислимо.

Есть теория инфантилизма, т. н. д и с т р о ф и ч е с к а я т е о р и я, которая рассматривает инфантилизм, как задержку развития, общего или частичного, в результате перенесенных

инфекционных болезней и врожденных пороков сердца. Хотя я не являюсь вдохновенным сторонником дистрофической теории инфантилизма, придерживаясь более мнения, что инфантилизм есть аномалия конституции эндокринного происхождения (эндокринная теория *), тем не менее смешно было бы отрицать, что длящиеся годами (3—4 года, напр., у Лермонтова) инфекционные болезни в детстве не действуют задерживающе на нормальное развитие ребенка вплоть до развития характерной картины инфантилизма, при чем мое мнение таково, что это, главным образом, задержка в нормальном развитии эндокринных желез при инфекционных болезнях, которая ведет к типичным картинам инфантилизма. Итак, у Лермонтова были все шансы для развития инфантилизма, которое больше всего стоит в связи с недоразвитием половых желез. О развитии полового аппарата у Лермонтова нам ничего неизвестно. Однако, те данные о строении тела Лермонтова, которые дошли до нас, позволяют сделать некоторые заключения о функциональных особенностях половых желез у Лермонтова. «Лермонтов был среднего или даже низкого роста с непомерно широким туловищем, с большой головой, сутуловатый, немного кривоног, с нежными выхоленными руками; лицо бледное, с весьма слабой растительностью; темные волосы с светлым белокурым клочком чуть повыше лба окаймляли хорошо развитый лоб; большие темные глаза казалось вовсе не участвовали в насмешливой улыбке на красиво очерченных губах». На основании этого описания наружности Лермонтова Соловьева **) причисляет Лермонтова к «типу диспластиков», не стараясь дальше разъяснить нам какого рода диспластический тип был Лермонтов.

Между тем уже то немногое, что нам известно о наружности Лермонтова говорит за известный род феминизма ***) (женственности) (нежные руки, безбородое лицо, скудная растительность на теле), которую ни с чем другим нельзя связать, если не с некоторой гипофункцией половых желез вследствие недоразвития последних. В связи с этой гипофункцией Лермонтов видимо отличался воздержанностью in venere, и во всяком случае неизвестно, чтобы Лермонтов предавался половым эксцессам, что легко можно было бы заподозрить у Лермонтова, при его бурной светской жизни с непрерывными выпивками и в обществе распущенных юнкеров.

Я думаю поэтому, что инфантильные черты характера Лермонтова надо приписать на счет некоторого недоразвития его

*) См. Galant, Ueber Infantilismus in Anchluss an einem seltenen Fall von Infantilismus mit hysterointantilen Zuegen «Archiv fuer Kinderheilkunde» Bd. 79, 1926, и Galant, Der Hirschsprung-Galant'sche Infantilismus, «Muenchener Medizinische Wochenschrift» № 45. 1926 г.

**) Соловьева, Лермонтов с точки зрения учения Кречмера, «Архив геняльности и одаренности» Т. II, выпуск 3, 1926 г.

***) Еще одна общая конституциональная черта у Наполеона и Лермонтова.

половых желез. Та же причина, которая способствовала этому недоразвитию, дала возможность зубной железе, обыкновенно исчезающей к периоду половой зрелости, персистировать, что, может быть, дало сильный толчок к развитию у Лермонтова поэтического его таланта. Известно, что если зубная железа поддерживается щитовидной железой и мозговым придатком (каков случай Лермонтова), то в результате может получиться талантливый человек с блестящим умом или эксцентричный гениальный поэт, каковым был Лермонтов. Вот почему я в начале статьи сказал, что Лермонтов эндокринологически напоминает Оскара Уайльда, который был тимоцентрической личностью. В остальном же Лермонтов ничего общего с Уайльдом не имеет, если не считать одного чисто внешнего обстоятельства жизни, что оба они в детстве воспитывались в женском обществе.

Заключая эндокринологический анализ Лермонтова, я резюмирую эндокринологически личность Лермонтова как адреналинно-тимо-питуитоцентрическую личность с недостаточностью внутренней секреции половых желез и хорошо функционирующей щитовидной железой. Известные колебания в функциях центральных эндокринных желез Лермонтова, особенно в таковой питуитарной железе со склонностью ее к частичной недостаточности, очевидно, в связи с истощением при напряжениях, объясняют нам легко те различные колебания в настроениях, действиях, поступках поэта, которые нас часто поражают и даже отталкивающе на нас действуют. Такие колебания, однако, встречаются в той или другой форме почти у всех гениальных личностей и не должны нас поэтому ни смущать, ни поражать: они законны.

Я еще не сказал ничего относительно «угрюмости» характера, склонности Лермонтова к уединению и к самоанализу, бросающихся в глаза в первое время пребывания его в университете. Вот рассказ Вистенгофа, имеющий отношение к этому пункту:

«Мы стали замечать, что в среде нашей аудитории, между всеми нами один только человек как-то рельефно отличается от других: он заставил нас обратить на себя особенное внимание. Этот человек, казалось, сам никем не интересовался, избегая всякого сближения с товарищами, ни с кем не говорил, держал себя совершенно замкнуто и в стороне от нас, даже и садился он постоянно на одно место всегда отдельно, в углу аудитории, у окна; по обыкновению, подпершись локтем, он читал с напряжением, сосредоточенным вниманием, не слушая преподавания профессоров. Вся фигура этого человека возбуждала интерес и внимание, привлекала и отталкивала. Мы знали только, что фамилия его Лермонтов. Прошло около двух месяцев, а он неизменно оставался с нами в тех же неприступных отношениях. Студенты не выдержали. Такое обо-

собленное исключительное поведение одного из среды нашей возбуждало толки. Одних подстрекало любопытство, других сердило. Каждому хотелось ближе узнать этого человека, снять маску, скрывавшую затаенные его мысли, и заставить высказаться. Однажды студенты, близко ко мне стоявшие, считая меня за более смелого, обратились ко мне с предложением отыскать какой-нибудь предлог для лачатия разговора с Лермонтовым. «Вы подойдете, Вистенгоф, к Лермонтову и спросите, какую это он читает книгу с таким постоянным напряженным вниманием». Недолго думая, я отправился. «Позвольте спросить Вас, Лермонтов, какую это книгу Вы читаете. Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как Вы в нее углубились. Нельзя ли ею поделиться и с нами?». Взглянув на книгу, я успел только распознать, что она была английская. Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии сверкнули его глаза, трудно было выдержать этот насквозь пронизывающий неприветливый взгляд. «Для чего это Вам хочется знать? Будет бесполезно, если я удовлетворю Вашему любопытству. Содержание этой книги Вас несколько не может интересовать, потому что Вы не поймете тут ничего, если я даже и сообщу Вам содержание ее», ответил он резко, приняв прежнюю позу и продолжая читать. Как бы ужаленный бросился я от него. Лермонтов и далее продолжал держать себя по-прежнему». Однако, это было только в университете, в аудитории. Вне стен университета Лермонтов не уединялся. «Он посещал великолепные балы тогдашнего благородного собрания, являлся на них изысканно одетым, в обществе прекрасных светских барышень, к коим относился так же фамильярно, как и к почтенным влиятельным лицам».

Итак, Лермонтов вовсе не страдал склонностью к уединению, к аутизму, к самоанализу, как это могло бы показаться на первый взгляд. Лермонтов был в университете таким же приблизительно, каким его рисовал Васильчиков в отношении его к людям в конце жизни: узкий круг знакомых и товарищей, с одной стороны, и «весь род человеческий» с другой, к каковому последнему Лермонтов относился с пренебрежением и который он удостоивал только насмешками, подтрунивая над мелкими и крупными его странностями.

Среди материалов, которыми я пользовался при анализе эндокринной личности Лермонтова, фигурирует и статья М. Соловьевой: «Лермонтов с точки зрения учения Кречмера», о которой я считаю не лишним высказаться на этом месте.

Я считаю большим недостатком в работе Соловьевой то, что автор кладет учение Кречмера в основу исследования личности Лермонтова. И вот почему. Учение это, ценность которого, как научная истина, еще очень сомнительна, совершенно непригодно к применению в проблемах эвропатологии, где нам нужен весьма глубокий и всесторонний анализ как личности, так и твор-

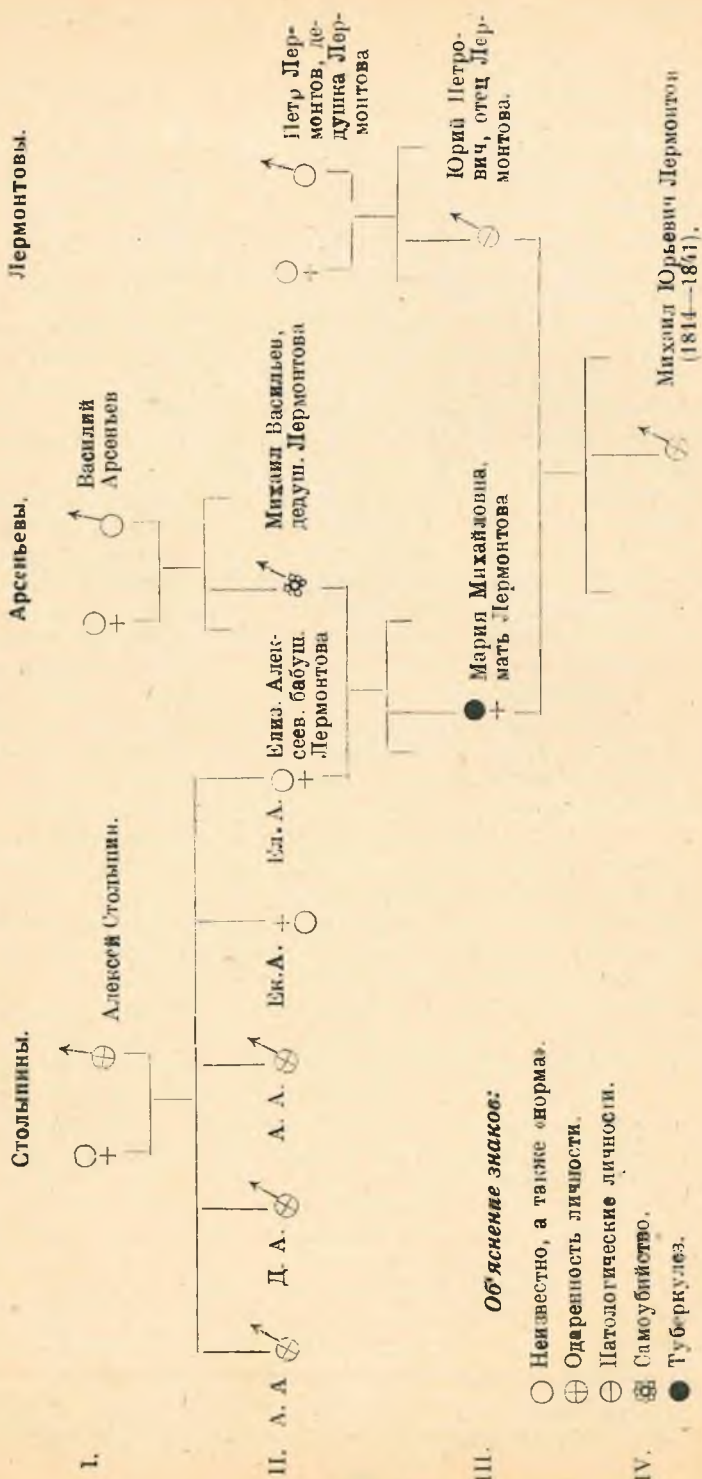
чества гениального человека. Между тем в учении Кречмера, поскольку дело идет о психоконституции человека, все сводится к тому, имеем ли мы дело с шизоидом или циклоидом. Соловьева пришла к заключению, что Лермонтов гениальный психопат—шизоид! Мне кажется, что при некотором желании Соловьева могла бы обозначить Лермонтова циклоидом, ибо в нем столько же циклоидных, сколько шизоидных черт характера. Склонило Соловьеву на сторону шизоида диспластическое в строении тела Лермонтова, а по Кречмеру диспластики должны непременно быть шизоидами... И Наполеон принадлежал по строению тела к диспластикам, и тоже он был шизоид?.. Понятия шизоид и циклоид не могут определить сущность гениальной личности, ибо в концах все люди делятся по Кречмеру на шизоидов и циклоидов или шизотимиков и циклотимиков.

На западе, в самой Германии, давно уже ведется борьба с модным увлечением учением Кречмера. Достаточно назвать Вилке, как возглавляющего антикречмеровское течение, чтобы убедиться, что это течение имеет твердую научную почву под ногами. Пора и нам в СССР начать критически относиться к учению Кречмера, а не слепо увлекаться стареющей на западе модой. В моих статьях по конституции женщины *) я доказываю, что система конституций Кречмера страдает большими недостатками, обесценивающими ее значительно. Я предлагаю новую систему конституций, состоящую из трех конституциональных групп (узко-сложенную, широко-сложенную и атлетически-сложенную) с семью типами конституции (астенический и стенопластический тип (I), пиклический и мезопластический тип (II) и субатлетический, атлетический и эврипластический тип (III)). Понятно, поэтому, что если физическая база системы конституций Кречмера несовершенна, то тем паче несовершенна построенная на ней теория о шизо- и циклотимии всего человечества...

Вот почему мне кажется, что не стоит вводить в европатологию учение Кречмера, как фундамент, на котором можно было бы в европатологии возвести новую богатую познаниями науку о гениальности и одаренности. Мне кажется, что евроэндокринология, с ее всесторонним анализом эндокринной личности, скорее и вернее достигнет цели, чем хромающее на обоих ногах учение Кречмера.

*) Galant, Konstitutionslehre der Frau. Archiv fuer Frauenkunde und Konstitutionsforschung. Bd. XI und XII, 1925 und 1926.

Генеалогическая таблица М. Ю. Лермонтова



Объяснение знаков:

- Неизвестно, а также норма.
- ⊕ Одаренность личности.
- ⊖ Патологические личности.
- ⊗ Самубийство.
- Туберкулез.

2. А. С. Пушкин.

С генеалогической таблицей поэта.

Смешение двух столь различных кровей, какова африканско-негритянская кровь и европейская (германо-славянская (родоначальник Пушкиных был прусский выходец Радши, выехавший в Россию при Александре Невском)), может дать всевозможные «сюрпризы». Такой же «сюрприз», как Александр Сергеевич Пушкин, есть верх всех ожиданий от подобного рода кровосмешения и превращает в недостойную внимания архивную пыль все мудрствования ученых-теоретиков о полезности или вреде кровосмешения различных рас. Можно ли говорить об опасности вырождения от смешения рас, когда смешение африканской с европейской кровью дает нам в течение поколений одного из гениальнейших среди гениальных поэтов? Правда, африканский предок Пушкина, Абрам Петрович Ганнибал («Арап Петра Великого») (см. генеалогическую табл. Пушкина), хотя и «арап», был одаренный человек, и африканская кровь, которая текла в его жилах и которую он передал своим потомкам в наследство, была высокого качества. Но ведь это есть условие, обязательное для процветания какого бы то ни было потомства, и смешно было бы приводить в доказательство вредности кровосмешения рас случаи, где представители вступающих в кровосмешение рас хилые и болезненные индивиды. От такого рода кровосмешения ничего другого нельзя ожидать, как, может быть, медленное, но верное вырождение, если в течение поколений это вырождение не задержится случайной примесью, со стороны, полноценной кровью.

При тех условиях, однако, когда смешение рас происходит при наличии с обеих сторон качественно высоко-стоящих задатков, совершается, очевидно, активирование особенностей одной расы другой, и выявляются отчасти скрытые (гипостатические) душевные силы или же имеющиеся эпистатические способности достигают небывалого совершенства. Вот как можно было объяснить, что именно П у ш к и н у выпало на долю быть величайшим русским и одним из величайших всемирных поэтов.

Поэзия была для Пушкина делом не только «сердца», но и «ума». Для того, чтобы быть великим поэтом, П у ш к и н неустанно работал над своим образованием и уже в детстве про-сизживал дни и ночи за книгами. «Александр Сергеевич пристрастился к книгам, лишь только выучился читать. Никто им не руководил в этой страсти, родители предоставили ему полную свободу читать все, что угодно и сколько угодно. Ребенок жадно

набросился на библиотеку отца, переполненную книгами—отнюдь не детскими, целые ночи проводил за чтением, прекрасно помнил прочитанное и к одиннадцати годам поражал взрослых познаниями во французской литературе. Уроки учителей не занимали юного читателя. Он предпочитал самостоятельную авторскую работу, принялся подражать прочитанным авторам драматических пьес, басен, поэм. Писалось все это по-французски и повергалось на суд сестры—единственного, горячо любимого друга детства. Она также страстно увлекалась поэзией, исписывала свои альбомы стихами, сама сочиняла и даже воспевала талант своего брата. Случалось ей произносить и строгий суд: юный поэт подчинялся ему,—и на всю жизнь у него осталась светлая память о «бесценном друге», о «беседах с ним по поводу прочитанных книг, сочиненных стихов».

Итак, уже в раннем детстве (Пушкин поступил в Лицей на 12 году жизни, а все, что рассказывалось выше, было в годы воспитания в родительском доме) отмечается у Пушкина с п л я н о л о д ч е р к н у т ы й а н т е п и т у и т а р и з м. Ранняя зрелость ума, превосходная память и неутомимая творческая работа характеризуют этого 8—10 летнего «спеца», поражающего взрослых своими познаниями во французской литературе.

Это преимущественно антепитуитарное направление психики юного поэта не должно нас поразить. Несмотря на то, что В е г н а п находит поэтический гений связанным больше с постпитуарной долей гипофиза, тем не менее приходится серьезно сомневаться в том, что постпитуитарная доля есть не только источник высших эмоций, но сам по себе источник высшего эмоционального творчества всецело. Нечто интеллектуальное есть при всяком эмоциональном творчестве, хотя бы в форме т. н. «интеллектуальных чувств» (Блейлер-Нагловский), и, следовательно, при эмоциональном творчестве, особенно при поэтическом творчестве, принимает деятельное участие в этом творчестве и антепитуитарная доля. В доказательство того, что это именно так, я мог бы привести следующие рассуждения. Известно, что основной женский тип, как физически более нежный, а психически более эмоциональный, эндокринологически выражаясь, есть постпитуитоцентрический (насколько именно гипофиз играет основную роль в формировании психоконституции), основной мужской же тип, как преимущественно интеллектуальный, есть антепитуитоцентрический. И вот, если действительно верно, что одна только качественно высокая функция постпитуитарной доли достаточна, чтобы получился в результате эмоционально-творческий гений, то большинство поэтов, композиторов и самые знаменитые между ними должны были бы быть женщины. Между тем известно, что среди поэтов женщин сравнительно мало, и что действительно великие поэты были исключительно мужчинами. П у ш к и н идет так далеко, что он отрицает у женщин не только поэтический гений, но даже простую способность поддаваться действию поэзии и не верит в эстетическую чуткость женщины:

«Природа, одарив их (sc. женщин) таким умом и чувствительностью, самую раздражительную, едва-ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не достигая души, они бесчувственны к ее гармонии».

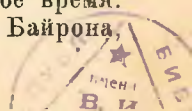
Не подлежит поэтому никакому сомнению, что у действительно гениальных поэтов в процессе творчества принимают деятельное участие обе доли гипофиза, а иногда гиперпитуитаризм дает себя у них, как у Пушкина, особенно чувствовать, если поэтические произведения возводятся на научных фундаментах (напр. поэтическая разработка исторических личностей, событий, эпох и т. д.).

Антепитуитаризм и научное направление мысли не оставляли Пушкина всю его жизнь, хотя он очень часто предавался необузданным разгулам плоти, истощая себя как физически, так и морально. Этот губящий разгул плоти начался у Пушкина уже в годы лицейской жизни: «Царскосельский сад и лицейские коридоры—укромные уголки для любовных приключений с горничными и крепостными актрисами. Кстати, в селе стоит лейб-гусарский полк: общие компании лицеистов с офицерами, совместные упражнения в манеже—самые подходящие товарищи, чтобы постигнуть «шестие нравственности и успехи разума».

Как поэту, при его африканской крови, удалось снасти душу и человеческий образ после долголетнего странствования в тени царскосельского парка с Наташами и гусарами,—тайна исключительно его природы, отнюдь не внешней помощи. Еще любопытнее, как после упорного презрения к истории и словесности лицейских профессоров у поэта осталась страстная любовь к русской старине и литературе? Как после куплетов и мадригалов горничным и актрисам он немедленно по выходе из лицея нашел в себе охоту и волю три года работать над поэмой «Руслан и Людмила» и работать тайком, с неослабным усердием, с «величайшим напряжением таланта и ума?».

Это напряженье таланта и ума отмечается у Пушкина, как мы уже сказали, и в лицее, когда он «выполняет неуклонно программу своего детства,—не перестает читать, страстно, усидчиво и в высшей степени основательно. Он читает с пером в руках, делает выписки и заметки. Он не аслаждается и учится. По его словам,—он часто тайно, в своей комнате, с восторгом забывает целый свет, его друзья—«мертвецы над простором полкой»: они живут с ним.

Всю свою жизнь Пушкин не перестает заботиться об умственном своем развитии, о расширении старых и приобретении новых знаний, о старательном углублении в тайны человеческой природы и в тайны исторического прошлого России и других народов. Находившись в изгнании на юге России, Пушкин сближается с Раевским, здесь впервые испытывает общее увлечение Байроном и, чтобы читать Байрона в оригинале, изучает английский язык, овладев им в короткое время. Однако, Пушкин скоро освобождается от влияния Байрона,



как и от всяких других господствующих литературных и исторических воззрений, и развивается оригинальным мыслителем и поэтом.

В какую грязь и тину жизни Пушкин не втянулся бы в различные периоды своей многогранно распутной и безобразной жизни—работник и мыслитель не только в нем не умирали, но обнаруживались в нем так неожиданно, в таких неподходящих условиях, что «тайна природы» Пушкина, про которую говорит его биограф (Ив. Иванов), приковывает все больше и больше наше внимание.

«На юге у Пушкина развивается замечательная склонность к историческому воззрению на прошлое и настоящее. Он желает изучить основу, почву, жизненный смысл известных явлений. Ему нужно не преднамеренное отвлеченное освещение действительности, а истина фактов. Поэт, оказывается, такт в себе ученого и политика». И если теоретизирующий политик в Пушкине, который на деле был слишком мало политик и еще меньше политический деятель *). Но зато как расцветает в Пушкине в период заточения его в селе Михайловском (с 9 августа 1824 по начало октября 1826) и позже ученый! Страсть Пушкина к книгам в Михайловском усиливается. «Книг, ради Бога книг!»—взывает он к друзьям. И книги идут к нему в громадном количестве. И чего только здесь нет! Библия, коран, Байрон, Вальтер-Скотт, Мемориал Св. Елены, Записки Фунге, Шекспир, Карамзин... Впоследствии из Михайловского придется отправить в Петербург несколько взов книг.

И все это читается, вызывает обмен мыслей с друзьями, но прежде всего упорную личную работу. Она, разумеется, непосредственно отражается на творчестве. Коран, русские летописи, История Карамзина, Шекспир—все это источники вдохновения, и трудно решить, что больше чести делает поэту:—его ли многообразный гений, или добросовестный труд.

*) «Друзья основательно боялись его горячности, поэтической экспансивности, а может быть и вообще не считали его достаточно зрелым для дела. Пушкин усердствовал в светских удовольствиях, у него—писала Карамзина,—происходили дуэли каждый день, он,—жаловался его товарищ и друг Пущин—льнул к аристократическим франтам и бездельщикам. Все это так естественно для 20-летнего поэта с ганибаловской кровью в жилах,—и никто не подозревал другого Пушкина, продолжавшего жить своею жизнью и теперь, с «тайным другом», т.-е. с своею первою поэмой.

Пушкина глубоко огорчало отношение к нему юношей-политиков, и, может быть, это чувство вызвало у него особенно стремительный протест. Он пишет эпиграмму на Аракчеева, сочиняет очень сильную оду «Вольность», открыто заявляет свой восторг перед революционными событиями на западе, например, перед убийством герцога Беррийского... Но такова глубина и жизненная правдивость этой избранной природы! Даже и среди отвлеченных радикальных взрывов Пушкин не забывает русской действительности. Двадцати лет он высказывает впервые политическую идею громадного значения и с полным историческим пониманием предмета. Очевидно, приземные влияния не отняли у Пушкина отечественной почвы под ногами, и, говорят, даже Александр I велел благодарить поэта за стихотворение «Деревня».

Изучать затем, чтобы творить, думать с целью создавать образы, писать ради умственного и нравственного просвещения своего народа—такова эстетика Пушкина. Для искусства строгий, искренний, глубокий реализм, для мысли—значительность, жизненность, народность идей, для формы—простота, изящество, идеальная чистота языка. Первое послание к ней в «Евгении Онегине», и смысл ее один и тот же. В послании он говорит об идейности поэтического произведения. негодует на чистую поэзию вралей,—которым досуг воспевать рощи и поля, сочинять триолеты, баллады, басенки, элегию. куплеты—«досугов и любви невинные мечты, воображения минутные цветы». В романе полная теория национального русского реализма, идейного и жизненного по самой своей сущности. И вряд ли какой поэт яснее и настойчивее Пушкина определил сущность «живой поэзии», повелевающей своим избранныкам: на поприще ума нельзя нам отступать.

И Пушкин призывает ум, т. е. «полезные истины»,—в сотрудничество со своим вдохновением. Трудно представить, сколько труда полагает он на драму «Борис Годунов»! Он изучил психологию Шекспировских характеров, факты истории по Карамзину, «образ мыслей и язык» эпохи в летописях. Он беспощадно переделывает написанное, перечеркивает целые монологи, заново пишет сцены. И он с поразительной силой воспроизвел лица и события, какими их нарисовал историограф, разгадал труднейшую тайну народной души и, если царь Борис вышел слишком мягким, мелодраматичным, этот недостаток—плод небывалого достоинства русской исторической пьесы: строго-исторического реализма, насколько его можно было основать на лучшем современном источнике—сочинении Карамзина».

Таким образом, из всего известного нам о процессе творчества Пушкина с убедительной ясностью вытекает, что у Пушкина ум (антепитуитарная доля) и вдохновение (постпитуитарная железа) стоят в постоянном соревновании, и только благодаря гармонической функции обеих долей гипофиза могла развиться у Пушкина недюжинная сила его гения, поражающего молодостью, блеском, красотой и неистощимой энергией.

Пушкин — идеальная питуитоцентрическая личность. У Пушкина мы не встречаемся с теми сильными колебаниями в сторону недостаточности той или другой доли гипофиза, как напр., у Наполеона или Лермонтова. В этом состоит та «тайна природы» Пушкина, о которой говорит биограф его, и которая для нас не является тайной. Все страшные невзгоды жизни поэта разбиваются о «недоступные скалы» питуитарной его железы, и от природы сердечный, гуманный, жизнерадостный, неутомимо бодрый и энергичный поэт лишь редко и ненадолго впадает в состояния угнетенности, раздражи-

тельности, человеконенавистничества. Такого рода состояния развиваются у Пушкина в Одессе, когда он состоит на службе у нового начальника, гр. Воронцова, который не умел щадить человеческую личность поэта. Граф судил о Пушкине по месту, которое он занимал в табели о рангах, и по его родовитости. И то и другое для вельможи и графа оказывалось неудовлетворительным. И вот Пушкин возмущается. «Он выходит из себя при одной мысли, что должен подчиняться хорошему или дурному настроению того или другого начальника. Он теряет всякую сдержанность перед дерзким и бессмысленным англоманством Воронцова, не желает допустить, чтобы с ним—уже прославленным поэтом—на его же родине обращались менее уважительно, нежели с «любимым английским балбесом». Желчные насмешки сыплются градом, в письмах поэт дает полный простор своему гневу на свою участь и в одном из них доходит до признания атеизма системой «более всего правдоподобной». Эти письма поэта не остаются скрытыми для Воронцова. Пушкин увольняется со службы и ссылается в село Михайловское, где он, осужденный на новые мучительные страдания в доме несносного, неприязненно к нему относившегося отца, безустанно и успешно работает над бессмертными своими произведениями.

Но более сильным врагом Пушкина, чем внешние невзгоды жизни, была другая, чем питуитарная эндокринная особенность его, именно гипертонизм, который у Пушкина принимал крайние формы сатириазиса (Satyriasis).

Необыкновенная сексуальная чувствительность и злоупотребление половыми радостями явление нередкое среди великих писателей и поэтов. Достоточно указать на такую звезду русской литературы, как Лев Николаевич Толстой, чтобы легко проникнуться этой истиной. В своих воспоминаниях о Лье Толстом Горький *) пишет о сексуальных вкусах и половой жизни Толстого в XX отрывке следующее:

«О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая раньше неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невинное, а Л. Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его бе-

*) Горький. Воспоминания. Лев Толстой, стр. 50. Издательство «Книга» в Берлине. 1923.

седа о «Вареньке Олесовой», «26 и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо».

Итак, чрезвычайная половая похотливость в молодые годы и сексуальное сквернословие до самой глубокой старости характеризуют гипергонадизм Льва Толстого. Что касается Пушкина, то он, говоря языком Толстого, был не только «неутомимый»..., но до крайности развращенный сладострастник, предававшийся различным сексуальным перверсиям, и сексуальным скандалам Пушкина не было конца.

Гипергонадизм Пушкина объясняли его «африканской кровью». Надо отдать справедливость фактам и сказать, что эндокринно-гипергонадальные особенности Пушкина стоят в связи не только с его наследственностью по линии Ганнибалов, но и по линии Пушкиных. Если верно, что Ганнибалы, Абрам Петрович и в особенности Осип Абрамович, отличались чрезвычайной сексуальной пылкостью и прославились своей грязно-развратной жизнью, то и Пушкины представляли в сексуальном отношении редкие экземпляры сексуально извращенных людей. Александр Петрович Пушкин, прадед поэта, зарезал свою жену, находившуюся в родах, а Лев Александрович, дед поэта, замучил из ревности свою жену, заключив ее в домашнюю тюрьму, где она умерла на соломе.

Сексуальная патология предков Пушкина всецело отразилась в жизни поэта, как болезненная похотливость Ганнибалов, так и болезненная ревность Пушкиных, и все это мы встречаем у Александра Сергеевича в весьма сгущенной, кумулятивной форме.

Любовным похождениям Пушкина нет конца; он готов был влюбиться в каждую встречную более или менее привлекательную женщину и не успокаивался, пока не обладал ею физически. И таков был Пушкин не только в молодые годы, в пылкие годы юности, но и гораздо позже, когда он уже возмужал, стоял в зените славы и был серьезным научным работником. В 1828 году Пушкин пишет о себе следующее стихотворение:

Tel j'étais autrefois et tel je suis encore.
Каков я прежде был, таков и ныне я:
Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,
Могу ль на красоту взирать без умиления,
Без робкой нежности и тайного волнения,
Уж мало ли любовь играла в жизни мной?
Уж мало ль бился я, как ястреб молодой,
В обманчивых сетях, раскинутых Кипридой,
А не исправленный стократною обидой,
Я новым идолам несу свои мольбы...

Было бы, однако, большой ошибкой думать, что Пушкину была недоступна и другого рода любовь, любовь облагораживающая, вдохновляющая, поощряющая великий его гений. Такова любовь к госпоже Керн, роман с которой у Пушкина разыгрался в годы изгнания в Михайловском, когда он посещал в сельце Григорском г-жу Осипову с ее пятью дочерьми, к которым в гости приезжала г-жа Керн. Красавица Керн не в силах сохранить равнодушие перед всероссийскою славой поэта, чудными стихами его «Цыган», его блестящею беседой. Она поет Пушкину романсы, вызывает в нем чувства, граничащие с настоящим блаженством сердца, и является вдохновительницей одного из музыкальнейших его стихотворений, которое он ей посвящает:

К***.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный,
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья,
Тянулись тихо дни мои,
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Такие светлые звезды на мутном горизонте сексуальной жизни Пушкина являются единичными исключениями и в общем, и целом надо признать сексуальную жизнь Пушкина безусловно тяжело патологической. Пушкин едва ли сильно оклеветал себя, он пишет в одном послании к Ф. Ф. Юрьеву:

«А я повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный
Взросленный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний».

«Бесстыдное бешенство желаний», которым Пушкин нравится «юной красоте», это должно быть те перверсии, которые Пушкин практикует при удовлетворении своей половой страсти. И в этой области Пушкин достиг «совершенства» и неожиданной славы. Содержательница публичного дома в Петербурге, Софья Астафьева, жаловалась полиции на безнравственность Пушкина, который «развращает ее овечек» *).

Неудивительно, если Пушкин при такой развратной жизни болел венерическими болезнями, на которые он намекает в четверостишии:

Я стражду 8 дней
С лекарствами в желудке
С меркурием в крови
С раскаянием в рассудке.

Но как ни гадка была гипергонадальная жизнь Пушкина, его современники ухитрялись представить ее в еще более черных красках, чем она в самом деле была! Лицейский товарищ Пушкина, барон М. А. Корф, рисует Пушкина следующим образом: «В лице он превосходил всех чувственностью, а после, в свете, предавался распутствам всех родов, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий. Должно дивиться, как здоровье и талант его выдержали такой образ жизни, с которым естественно сопрягались и частые гнусные болезни, низводившие его часто на край могилы. Пушкин не был создан ни для света, ни для общественных обязанностей, ни даже, думаю, для высшей любви, или истинной дружбы. У него господствовали только две стихии: удовлетворение чувственным страстям и поэзия; и в обоих он ушел далеко. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни вышних нравственных чувств, и он полагал даже какое то хвастовство в отъявленном цинизме по этой части. Злые насмешки часто в самых отвратительных картинах над всеми религиозными верованиями и обрядами, над уважением к родителям,

*) В. В. Вересаев в частном разговоре со мною возмущался, что некоторые авторы понимают жалобы Софьи Астафьевны в том смысле, что Пушкин действительно «развращал ее овечек». По словам Вересаева, идеально настроенный Пушкин часто предлагал «овечкам» Софьи Астафьевной перестать торговать своим телом и заняться честным трудом, обещая им свою материальную и моральную поддержку. И вот Софья Астафьева, видя в подобной пропаганде Пушкина убыток своему «делу», жаловалась полиции, что Пушкин «развращает ее овечек» в том смысле (так надо понять!), что он заражает их «идеями», и они нарушают «режим» и правила «дома» помышляя о возможности оставить публичный дом и следовать советам Пушкина. При этом С. А. не упоминала, конечно, оклеветать Пушкина, что он развращает ее девиц в подлинном смысле слова, т.-е. сексуально развращает. Эта версия Вересаева заслуживает большое внимание и стоит проверить ее достоверность. Если она окажется верной, то это все еще не может служить опровержением общеизвестного факта, что Пушкин развратничал и что он предавался различного рода сексуальным перверсиям. См., между прочим, различные статьи Вересаева о Пушкине, а также четырехтомную его книгу: «Пушкин в жизни». Москва, Недра, 1926.

над родственными привязанностями, над всеми отношениями общественными и семейными—это было ему нипочем, и я не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда говорил более и хуже нежели в самом деле думал и чувствовал. Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда почти без порядочного фрака, с беспрепятственными историями, частыми дуэлями, в близком знакомстве со всеми трактирщиками, непотребными домами и прелестницами петербургскими, Пушкин представлял тип самого грязного разврата».

Цинизм Корфа, скрывающийся за пошлой буржуазной моралью религии и почитания родственников, служит нам залогом того, что Пушкин в сравнении с такими пошлыми циниками, как Корф, Комовский et С-о—невинный голубь... Пушкин был тяжелый эротоман, но великий патриот, любивший русский народ, любивший все великое и истинно прекрасное, поклонявшийся правде и свободе и веровавший в великого бога Просвещения:

Увижу ль я, друзья, народ не угнетенный
И рабство, падшее по магию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря!

(«Уединение»).

Как всякий пресыщенный эротоман, Пушкин страдает временами извращением вкуса и готов видеть в безобразной калмычке конкурента великосветских красавиц Петербурга. Вот стихотворение Пушкина, посвященное возлюбленной калмычке:

Прощай, любезная калмычка!
Чуть-чуть, на зло моих затей,
Меня похвальная привычка
Не увлекла среди степей
Влед за кибиткою твоей.
Твои глаза, конечно, узки,
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелком не сжимаешь ног,
По-английски, пред самоваром
Узором хлеба не крошишь,
Не восхищаешься Сен-Маром,
Слегка Шекспира не ценишь,
Не погружаешься в мечтанье,
Когда нет мысли в голове,
Не распеваешь: Ма дог'е.
Галоп не прыгаешь в собранье...
Что нужды?—Ровно полчаса,
Пока коней мы запрягали:
Мне ум и сердце занимали
Твой взор и дикая краса.

Друзья! не все ль одно и то же:
Забыться праздною душой
В блестящей зале, в модной ложе,
Или в кибитке кочевой?

Отметим еще среди гипергонадальных черт Пушкина сильно подчеркнутый фетишизм, нашедший свое выражение в его поэзии в ретилизме или поклонении женской ножке, и патологическую ревность. Обе эти черты мы находим, между прочим, в стихотворении Пушкина, посвященном гречанке, которое, пожалуй, поэтому не лишне привести здесь:

Ты рождена воспламенять
Воображение поэтов,
Его тревожить и пленять
Любезной живостью приветов,
Восточной странностью речей,
Блистаньем зеркальных очей
И этой ножкою нескромной;
Ты рождена для неги томной,
Для упоения страстей.
Скажи: когда певец Леилъ
В мечтах небесных рисовал
Свой неизменный идеал,
Уж не тебя-ль изображал
Поэт мучительный и милый?
Быть может в дальней стороне,
Под небом Греции священной,
Тебя страдалец вдохновенный
Узнал иль видел, как во сне,
И скрылся образ незабвенный
В его сердечной глубине.
Быть может, лирою счастливой
Тебя волшебник искушал;
Невольный трепет возникал
В твоей груди самолюбивой:
И ты, склоняясь к его плечу...
Нет, нет, мой друг, мечты ревнивой
Питать я пламя не хочу:
Мне долго счастье чуждо было,
Мне ново наслаждаться им,
И тайной грустию томим,
Боюсь: неверно все, что мило.

Итак, уж одна «мечта ревнивая» является для поэта нестерпимой мукой ада. Когда же поэт является свидетелем измены, то он до крайности жесток в болезненном своем бешенстве:

В покой отдаленный вхожу я один...
Неверную деву лобзал армянин.
Не взвидел я света: булат загремел...
Прервать поцелуя злодей не успел.
Безглавое тело я долго топтал,

И молча на деву, бледнея, взирал.
Я помню моления, текущую кровь...
Погибла гречанка, погибла любовь.
С главы ее мертвой, сняв черную шаль,
Отер я безмолвно кровавую сталь.
Мой раб, как настала вечерняя мгла,
В дунайские волны их бросил тела.

(«Черная шаль»).

Подготовленные таким образом к пониманию комплекса ревности, который у Пушкина, как у болезненного эротомана гипергонадального типа, принимал нередко причудливые формы, обратимся теперь к «последнему действию» в сексуальной жизни поэта.

Гипергонадизм Пушкина теряет свою прежнюю дикость и необузданность. Пушкин женится: «это соответствует его окончательно определившемуся состоянию духа. Для ума он желает труда—ровного, непрерывного, для сердца—жизни полной и глубокой. Но он увлекается девицей, осужденною от природы на вечное нравственное несовершеннолетие. Наталья Николаевна Гончарова воспитана матерью исключительно для танцев, светских удовольствий, праздного ежедневного блеска. Она мало читала, о Пушкине-поэте имела самое смутное представление, вышла за него без увлечения, была «отдана» родными,—но также без особенной радости. В лице матери жены поэт нашел одну из самых ненавистных тещ, какие только могли существовать в «свете». Но он страстно любил,—и бросил жребий на вящее свое горе.

Он—образцовый муж,—труженик, безгранично-нежный отец, простой, можно сказать, патриархальный семьянин,—но жена почти не живет дома. Она принадлежит свету, и свет ей благодарен: он старается защитить ее от притязаний мужа—даже в письмах—разумеется, при помощи чиновников Бенкендорфа; письма Пушкина распечатываются, и он тщетно негодует «каторга не в пример лучше»: он ведь в привилегированном положении, его сам царь, говорят, объявил умнейшим человеком в России *).

*) В начале октября 1826 г. Николай I вызвал к себе Пушкина на личную аудиенцию и обратился к нему с милостивою речью:

«Довольно ты подурачился; надеюсь—теперь будешь рассудительным, и мы более спориться не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь, отныне я сам буду твоим цензором!».

Обещание выполняется. Шеф жандармов Бенкендорф извещает поэта, что сочинений его никто не будет рассматривать: «На них нет никакой цензуры, Государь Император сам будет и первым ценителем произведений ваших и цензором». Это «привилегированное» положение поэта, объявленного вышупоманутым образом Николаем I «умнейшим человеком в России», было с самого начала «отвлеченным», а с 1827 г. в связи с процессом о стихотворении «Андрей Шенье» (несколько строк, изображавшие события великой французской революции) приняты за описание 14 декабря) Пушкин начинает подвергаться самой строгой цензуре, независимо от того, одобрены его стихи царем или нет, и дорога к свободной деятельности навсегда Пушкину пресечена.

Но это отвлеченное «метафизическое» положение, реально совсем другое: поэт—камер-юнкер —затем, чтобы жена имела право бывать при дворе.

«Свет упорно не желает признавать поэта своим человеком. В его глазах он попрежнему остается выскочкой, дерзким умником, случайным и смешным камер-юнкером. Он беден, достает средства к жизни личным умственным трудом, дурно одевается,— и при всем том держит себя независимо, даже надменно—с ними, детьми своих отцов».

Мы видим, обстоятельства жизни сложились для П у ш к и н а так, что свойственная ему страсть ревности должна была теперь разыграться во всей своей болезненной силе. «Свет»—враждебен Пушкину, на каждого представителя этого «света» Пушкин вынужден смотреть, как на личного своего врага, жена же его почти не живет дома, пропадает постоянно в этом «свете», утопает в его удовольствиях и находит в нем защиту «от притязаний мужа!» Как же не впасть в ревность! Жена в руках врагов, жена танцует и веселится с врагами, и если она ему, может быть, еще не изменила физически, кто может ручаться, что она ему уж не раз «изменяла в мыслях»? И Пушкин терзает себя в муках ревности, пока, подшпоренный злыми умыслами, насмешками и намеками враждебной ему среды на семейную его честь, не заболевает душевно и полусознательно ищет смерти.

«В последний год настроения Пушкина с каждым днем становятся безнадежнее, жизнь невмоготу. Раньше он стремился воп из Петербурга, подальше от света, теперь он хотел бы уйти от самой жизни. Его характер резко меняется. Пушкин будто заболевает недугом подозрительности и неограниченного недоверия ко всему человечеству. Свет достиг своей цели. Поэт ни на минуту не сомневается в невинности своей жены,—но тайная злоба и клевета заставляют его чуть не в каждом встречном видеть своего оскорбителя и интригана. Всякий малейший намек на его семейную честь приводит его в бешенство, он готов требовать удовлетворения у мнимого преступника, даже не проверив дела, не убедившись в вине. И одно столкновение за другим—с кн. Решниным, с гр. Соллогубом. На этот раз недоразумения кончаются благополучно: оба виновника знают, на кого им пришлось бы поднять руку. Дантесу нет дела до каких бы то ни было соображений, помимо светских козней,—и драма кончается кровавым актом...»

Тот «недуг подозрительности и неограниченного недоверия ко всему человечеству» Пушкина, про который говорит его биограф, есть ничто иное, как б р е д р е в н о с т и, развившийся у Пушкина с особенной силой в последний год жизни. Что это именно так, можно судить по следующему рассказу сестры Пушкина, Ольги Сергеевны Павлищевой:

«Брат говорил мне, что иногда чувствует себя самым несчастным существом, существом близким к сумасшествию, когда видит свою жену разговаривающей и танцующей на балах с краси-

выми молодыми людьми: уже одно прикосновение чужих мужских рук к ее руке причиняет ему приливы крови к голове, и тогда на него находит мысль, не дающая ему покою, что жена его, оставаясь ему верной, может изменять мысленно... Александр мне сказал о возможности не физического предпочтения его, которое по благочестию и благородству Наташи предполагать в ней просто грешно, но о возможности предпочтения мысленно других перед ним».

Итак, если можно подозревать у Пушкина в последние годы его жизни душевную болезнь, то только бред ревности, наличие которого у Пушкина является тем более вероятной и естественной, если вспомним, что мы имеем здесь дело с наследственным душевным заболеванием. Патологической ревностью и, должно быть, бредом ревности страдали Пушкины прадед и дед, особенно этот последний, державший свою жену в домашнем заточении, пока она, замученная, не умерла на соломе.

В последние годы жизни у Пушкина замечается ослабление жизненного тонуса (в сравнении с прежними годами), нечто вроде утомления, апатии.

Для объяснения этого явления нам на помощь придет эндокринология.

Мы еще ничего не сказали об адреналиновой железе (надпочечники) Пушкина. Между тем как раз эта железа представляет у Пушкина особенный интерес.

Известно, что особенности каждой расы обуславливаются преимущественным функциональным влиянием на расу одной какой-нибудь инкреторной железы. Особенности европейской расы находят свое объяснение в превалирующей функции гипофиза, монгольской расы в таковой щитовидной железы, а черной расы в таковой надпочечников. Так как Пушкин был по линии матери потомок негров, то следует ожидать, что его адреналиновые железы были на высоте своей функции.

Это подозрение получает силу большой вероятности, когда мы узнаем, что Пушкин сохранил в строении тела много характерных черт негритянской расы. По окончании лица, на 18 году жизни, Пушкин, по описанию товарищей, был среднего роста, широкоплечий, худощавый, имел темные курчавые волосы, светло-голубые глаза, высокий лоб, смуглое, небольшое лицо и толстые губы. Такое обилие негритянских черт в строении тела, как и в характере Пушкина, дает полное основание думать, что «железа черной расы»—надпочечники—сохранила расовые свои особенности.

И так оно в действительности и есть. Пушкин обладает силой и настойчивостью. Как он себя не истощает в постоянной погоне за сексуальными радостями, он остается в силе, как физически, так и духовно, поражая этим до крайности всех своих современников. А духовно Пушкин не только не падает, благодаря бешеной своей сексуальной разнузданности, а поднимается

все выше и выше. Умственная работа дается ему легко, он очень жив и скор, и игра его аффектов возбужденная, быстро изменчивая. Таков он в ранней молодости, таков он еще в 1827 г. «Пушкин очень переменялся наружностью, страшные, черные бакенбарды придали лицу его какое-то чертовское выражение (типично адреналинное! Впрочем он все тот же — так же жив, скор и попрежнему в одну минуту переходит от веселого смеха к задумчивости и размышлению».

Но в 1837 году Пушкин еще больше изменился, на этот раз не одним только лицом, а всем существом, благодаря наступающей недостаточности адреналинных желез. Отсюда подавленность настроения, утомляемость, временами истощенность, апатия и *taedium vitae*.

Рано намечающаяся недостаточность надпочечников у Пушкина, которая, если бы Пушкин остался дольше в жизни, безусловно компенсировалась бы другими эндокринными железами, говорит за то, что африканский элемент в Пушкине, действовавший безусловно активирующе на европейский, сам по себе был сравнительно слаб и растворялся в этом последнем. Был же Пушкин один из величайших питуитоцентрических личностей, и так по всему своему существу больше европеец, исключительно европеец! Гипергонадизм же Пушкина, поддерживаемый в юности также надпочечной функцией, не есть непременно особенность «африканской крови». Мы видели, что гениальные писатели, не имевшие в своих жилах «африканской крови», были в едва ли меньшей мере, чем Пушкин, гипергонадичны.

Надо все же сказать, что поскольку питуитаризм сделал Пушкина бессмертным гением, постольку гипергонадизм вел к скорой гибели то, что в Пушкине было смертным. Сексуальная извращенность Пушкина привела его к тому, что женился он на недостойной его женщине, на нравственно несовершеннолетней «танцовщице», которая его, может быть, пленила одной «нескромной своей ножкой» и неминуемо должна была вести его к гибели. И вот—

Погиб поэт, невольник чести!
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и с жаждой мести,
Поникнув гордой головой.
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид;
Восстал он против мнений света
Один, как прежде—и убит!

И по сей день мы должны возмущаться с Лермонто-
в ы м:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, гения и славы палачи!
Таитесь вы под сению закона
Пред вами суд и правда—все молчи!
Но есть и божий суд, наперсники разврата,
Есть грозный судия, он ждет,
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоее всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Резюме.

Проведенный нами в статье о Пушкине эндокринологический анализ личности поэта показал, что Пушкин был, говоря эндокринным языком, гипертондо-питуиточеской личностью, т. е. личность и жизненный путь поэта, его творчество и образ жизни определялись, главным образом, занимающими у него центральное положение в эндокринной системе половой и питuitarной железой. Другие эндокринные железы, щитовидная и адреналиновые железы (особенно эти последние), были у Пушкина на высоте своей функциональной пригодности. Только к концу жизни у Пушкина наблюдается адреналиновая недостаточность.

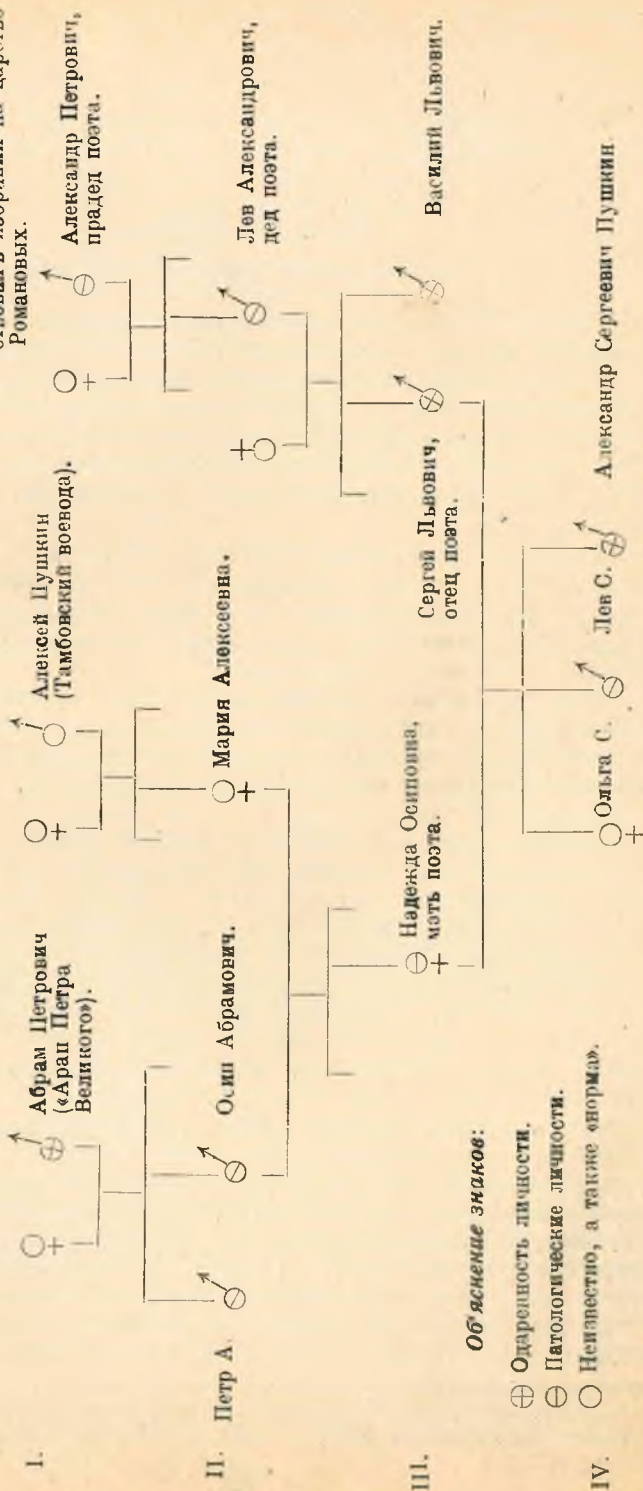
Генеалогическая таблица А. С. Пушкина

Гангибалы.

Пушкины.

Пушкины.

Древний боярский род. Уча-
ствовал в избрании на царство
Романовых.



Объяснение знаков:

- ⊕ Одаренность личности.
- ⊙ Патологические личности.
- Неизвестно, а также энорма.

З. Н. В. Гоголь.

С генеалогической таблицы писателя.

Пушкин и Гоголь считаются в русской словестности звездами первой величины и одинаковой яркости. «Пушкин и Гоголь, Гоголь и Пушкин—вот два имени, которых не может не знать грамотный русский человек, два имени, которыми в одинаковой степени должен гордиться он, которыми может и должен он утешать себя в минуты безрассудного отчаяния в силах и способностях своего народа. Эти два имени равно велики, равно знаменательны... *)»

Это обстоятельство побуждает нас провести эндокринологический анализ Гоголя в сравнении с таковым Пушкина. Интересно же убедиться, поскольку два поэта, которые «равно велики и равно знаменательны», равны между собой и эндокринологически.

И вот любопытно с первой же попытки сравнения видеть, до чего Пушкин и Гоголь эндокринологически не только не сходны между собой, но представляют собой полные противоположности, два столь различных полюса, как северный и южный.

Но как же так?

Да очень просто. Гениальное творчество не есть еще полное и точное отражение функций всех эндокринных желез, а только одной питуитарной, поддерживаемой, правда, так или иначе коррелятивно функциями других желез. Помимо же творчества, в ведении эндокринных желез находится все психофизическое развитие индивида. А в этом отношении до чего различны были Гоголь и Пушкин! Да и самое творчество обоих поэтов, достигнув одного и того же апогея славы, разве оно по общему своему духу и по форме не отличается существенно у обоих поэтов?

Начнем по обыкновению с питуитарной железы.

Питуитарная железа Гоголя не отличалась той мощью, которая характеризует питуитарную железу Пушкина. Она сравнительно рано начинает страдать у Гоголя недостаточностью и задолго до ранней смерти (на 43 году жизни) творческий гений поэта совершенно иссякает, свидетельствуя о ранней и полной протрации питуитарной железы. Как мы объясним это явление?

Прежде всего гередитарно. Одаренность у предков Гоголя, видимо, не совсем частый гость (см. генеалогическую таблицу),

*) Проф. А. И. Кирпичников. Н. В. Гоголь в «Собрании сочинений Гоголя». Изд. Сытина. Москва. 1902 г.

и, действительно, выдающихся людей мы среди предков Гоголя как будто вовсе не находим. Отец Гоголя был, правда, любитель искусства и поэзии, увлекался театром, сам выступал на сцене в домашнем театре дальнего родственника Трощинского, бывшего министра, поселившегося на покое в своем имении Кибинцах, и сочинил даже Василий Афанасьевич, отец Гоголя, для этого театра несколько недурных пьес. Но страдал Василий Афанасьевич туберкулезом *), который свел его на 44 году в могилу, и физическая хилость отца передалась и сыну, Николаю Васильевичу. В детстве Н. В. страдал золотухой, течью из ушей, и слабосильным он остался на всю жизнь, будучи по строению тела типичным астеником: типичное астеническое лицо (подчеркнутый угловой профиль, «птичье лицо»), узкая, досчато-плоская грудь, худощавость, кожа имела какой-то болезненный цвет («прозрачное лицо» чахоточного), и весь он, как физически, так и психически, представлял в различные периоды жизни, в связи со стечением внешних обстоятельств жизни и усиливающимся временем внутренним недугом, то более, то менее характерную картину астении.

По линии матери у Гоголя одаренности вовсе не отмечается, но зато патологические характеры вплоть до душевного недуга. Мать Гоголя была по всем данным душевно-больная женщина и страдала бредом, если не своего собственного величия, то величия своего сына, итак, косвенно, и своего величия. Все новые изобретения техники она приписывала своему сыну, в чем никак нельзя было ее разубедить. До чего доходил душевный недуг Марьи Ивановны, матери Гоголя, можно судить по тому, что Гоголь запрашивал свою сестру в письмах из Италии о здоровье матери, подчеркивая; что его беспокоит душевное ее равновесие.

При такой сравнительно неблагоприятной наследственности надо удивляться не столько недостаточности и окончательной прострации гипофиза, сколько годами длившемуся проявлению высших функциональных сил этой «благороднейшей» из инкреторных желез.

Расстройства эмоциональной сферы, свидетельствующие о недостаточности постпитуитарной железы Гоголя, отмечаются во все периоды его жизни, начиная с самого детства. Про свое детство Г о г о л ь пишет матери: «Я ничего сильно не чувствовал, глядел на все, как на вещи, созданные для того, чтобы угождать мне. Никого я особенно не любил, исключая только вас, и то только потому, что сама натура вдохновила это чувство». Такая весьма подозрительная тупость аффективной жизни в детстве, являющаяся выражением крайнего эгоизма и бедности эмоциональных переживаний, не повела бы Гоголя далеко от

*) Мнение Г. Сегалина, что отец Гоголя страдал туберкулезом, а не сифилисом, как предполагает Ермаков, кажется нам весьма вероятным и, пожалуй, единственно верным.

жизни «существователей» *) к славе всемирного гения, если бы не сильное напряжение воли при видимо все более и более развивающейся впоследствии и крепнувшей питуитарной железы, особенно антепитуитарной доли. Постпитуитарная доля остается у Гоголя всю его жизнь на положении недостаточности. В 1825 г. Гоголь реагирует на известие о смерти отца следующим письмом к матери:

«1825 года, апреля 23 дня. Нежин

Не беспокойтесь, дражайшая маменька. Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасно сим известием, однакож не дал никому заметить, что я был опечален, оставшись наедине, я предался всей силе безумного отчаяния: хотел даже посягнуть на жизнь свою. Но Бог удержал меня от сего, и к вечеру приметил я в себе только печаль, но уже не порывную, которая, наконец, превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения к всевышнему. Благословляю тебя, священная вера, в тебе только я нахожу источник утешения и утоления своей горести. Так, дражайшая маменька, я теперь спокоен, хотя я не могу быть счастлив, лишившись лучшего отца, вернейшего друга, всего драгоценного моему сердцу. Но разве не осталось ничего, что б меня привязало к жизни? Разве я не имею еще чувствительнейшей, нежной, добродетельнейшей матери, которая может мне заменить и отца, и друга и всего что есть милее? Что есть драгоценнее?» Во второй приписке к этому письму Гоголь просит прислать ему 10 рублей ассигнациями для покупки книги: «Курс Российской Словесности» и прибавляет: «на свои нужды мне ничего не надо».

Несмотря на «избыток чувств», в письме сквозит везде неискренность и искусственное «ряжение чувствами». Гоголь «вздун горой» видимо лишь слабо удручавшее его горе потери отца (признался же раз Гоголь, что он никого не любил!) и допускает такую бестактность, что он в письме, где убивается (буквально: «хотел даже посягнуть на жизнь свою!») о смерти отца, просит прислать денег на... «Курс Российской Словесности»... О глубине чувств у Гоголя, судя по этому письму, не может быть и речи. И если даже рисуемые Гоголем в письме душевные переживания верны и искренни, то такие быстрые переходы от крайней удрученности к равнодушию должны считаться патологическими.

При всем том Гоголь в ближайшие годы делает такой скачок вверх по скале гениального творчества, что волей неволей приходится думать о сильном кумулятивном компоненте творчества и антепитуитарной доле, компенсировавшей некоторое время недостаточность постпитуитарной доли. В годы рас-

*) «Существователями» Гоголь называл людей, которые мирятся на скромной доле провинциального чиновника, офицера, сельского хозяина, и мечтают только об личных удовольствиях. Гоголь считая для себя величайшим несчастьем возможность остаться в «существователях».

цвета творческих сил Гоголя аффективная сторона его психической жизни как будто качественно стоит на должной высоте.

Однако, это благополучие творческой эры Гоголя недолго продолжается. Даже в годы наибольшего расцвета своих умственных сил и творческой энергии, когда Гоголь чувствует в себе «львиную силу», он не может справиться с обеими вдохновлявшими его музами: музой поэзии и музой истории. Заняв в 1834 г. кафедру истории в Петербурге, Гоголь, в виду небольшого запаса знаний и невозможности усиленно подготавливаться к лекциям, должен в конце 1835 года покинуть кафедру, так-как его лекции из-за их вялости и малосодержательности оставляли студентов совершенно равнодушными. Начиная же с 1840 года энергия и творческие силы Гоголя начинают быстро падать, он скоро лишается почти совершенно способности художественного творчества; наступает полная питуитарная недостаточность, и развивается у Гоголя типичная картина тяжелого душевного недуга, известного в психиатрии как *Dementia praecox* (раннее слабоумие) или шизофрения. Как объяснить столь на первый взгляд неожиданный оборот в развитии личности и творчества поэта?

Эту загадку, как и много других, уже раньше, при эндокринном анализе нами других художников слова, встречавшихся нам как бы неразрешимых задач, легко разрешить при помощи эндокринологии.

Вся загадка личности Гоголя заключается в том, что он страдал крайним гипогонадизмом или по-русски — сильной недостаточностью эндокринной функции половых желез. В этом заключается и основная противоположность Гоголя Пушкину. В то время как Пушкин отличался, как мы уже знаем, крайним гипергонадизмом, Гоголь страдал в такой же мере гипогонадизмом!

У нас нет, к сожалению, никаких данных о развитии полового аппарата у Гоголя, и мы не можем сказать, можно ли было анатомически установить недоразвитие полового аппарата, как вещественное доказательство имевшейся эндокринной недостаточности половых желез у Гоголя. Однако же то, что нам известно об эмоциональной, половой и психосексуальной жизни Гоголя, говорит с абсолютной точностью за гипогонадизм Гоголя.

Если любовным похождениям Пушкина не было конца, и необузданная половая страсть его нашла отклики в его поэзии, то у Гоголя, как у крайнего гипогонадика, совсем нет половой жизни. У Гоголя за всю его жизнь не было никаких связей с женщинами, Гоголь никогда не любил, не знает, что такое любовь, что такое женщины, и в его произведениях любовь меньше всего играет роль: Гоголь слишком плохо знает любовь и женщин, чтобы уметь рисовать их в своих произведениях.

Ни в юности своей, ни когда либо раньше или позже Гоголь не увлекался женщинами. Известны только отношения Гоголя

к Смирновой, и то установлено, что не было при этом никаких любовных увлечений—тут же было даже никакой «платоновской любви».

Неизвестно также, чтобы у Гоголя была физическая потребность удовлетворения плоти. Некоторые авторы—Л о м б р о з о, Ч и ж—предполагают, что Г о г о л ь предавался мастурбации. С е г а л и н указывает, не отрицая впрочем возможности мастурбации у Гоголя, на то, что у Г о г о л я верно были и другие эквиваленты полового удовлетворения хотя бы в форме различного рода циничных выходок.

Известно, что Гоголь любил рассказывать циничные анекдоты и рассказывал он их с таким мастерством, с таким радостным увлечением, что легко усмотреть в этом увлечении Гоголя болезненное явление, а не шутки грубого человека. Ч и ж о в—товарищ Гоголя—повествует о страсти Гоголя к сальным анекдотам в своих воспоминаниях о Гоголе за 1843 г. следующее: «Сходились мы в Риме по вечерам постоянно у Языкова, тогда уже больного: Гоголь, Иванов и я. Большею частью содержанием разговоров Гоголя были анекдоты, почти всегда сальные. Молчаливость Гоголя и странный выбор его анекдотов не согласовались с уважением, которое он питал к Иванову и Языкову, и с тем вниманием, которым он удостоивал меня, зазывая на вечерние сходки, если я не являлся без зову».

Принимая во внимание, что цинизм речи и всякого рода другие цинические выходки являются нередко у лиц, страдающих половой немощью, извращенными эквивалентами полового чувства, мы будем склонны видеть в цинизме Гоголя такого рода эквивалент. Сюда придется отнести и циничный рассказ «Пращка», который Гоголь хотел печатать.

Итак, все данные говорят за то, что Г о г о л ь страдал тяжелым гипогонадизмом, и тут у нас ключ к разрешению загадки личности Гоголя.

Между питуитарной железой и эндокринной половой железой существуют самые тесные коррелятивные отношения, так что недостаточность одной из этих желез отражается неблагоприятно на другой. Особенно пагубно действует недостаточность половой эндокринной железы на питуитарную железу, развивая в этой последней различные формы недостаточности.

Нам теперь сразу сделаются понятным все те расстройства эмоциональной жизни Гоголя, про которые мы уже упоминали, и которые отмечаются на всем жизненном пути Гоголя, даже в годы расцвета его гения. Гипогонадизм Гоголя вызвал в первую эпоху его жизни (до 1840 года) значительную недостаточность постпитуитарной железы с притуплением альтруистических чувств. Настоящие чувства дружбы у Гоголя вряд ли когда были. Вот как Ч и ж описывает отношения Гоголя к его друзьям:

«Всех друзей Гоголя мы можем разделить на две категории: одни ему были полезны, другие были его учениками. Самым

близким другом Гоголя были Смирнова, потому что она была и полезна ему и была почтительной его последовательницей.

«Кто не мог быть полезен Гоголю, не разделял его взглядов, не подчинялся ему, тот не мог быть ему другом. Большой поэт не мог интересоваться убеждениями, стремлениями, не мог интересоваться людьми: ему были нужны средства для лечения, средства для жизни без обязательного труда, к которому, вследствие болезни, он был неспособен; нужны были преданные ученики, признающие его неизмеримое превосходство, и потому он выбирал себе друзей, которые оказывали ему услуги, которые смотрели на него, как на оракула. Казалось бы странно, что Гоголь мог быть дружен и с Пушкиным, и с Погодиным, и с Шереметьевой, но Пушкин хлопотал для него о кафедре, давал ему темы для художественных произведений, Погодин давал деньги взаймы, принимал в своем доме Гоголя, его мать и сестер, а Шереметьева молилась о его выздоровлении. Пушкин, Жуковский, С. Т. Аксаков, Погодин, Шевырев, Прокопович, Смирнова, Шереметьева, Толстой—все эти друзья были полезны Гоголю: они или добывали ему пособия, или давали взаймы деньги, хлопотали об его изданиях и т. п. Анненков, Иванов, Языков, Вельгорский, Смирнова удастались дружить потому, что почтительно выслушивали наставления Гоголя, были преданными учениками его и притом также оказывали услуги: Анненков переписывал «Мертвые души», Языков давал деньги взаймы, Вельгорские радушно принимали в своем аристократическом доме великого сатирика. Понятно, что при таком подборе друзей Гоголь не мог сойтись с людьми, которые не могли ему быть полезны, не соглашались с ним: так, когда Гоголь убедился, что Белинский не может ему быть полезен в борьбе с цензурой, он прекратил с ним отношения, а про А. И. Тургенева писал: «Несет дичь».

«В выборе друзей, в сношениях с ними весьма ясно сказалась патологическая организация Гоголя, его болезнь. Только в молодости он поддерживал настоящие дружественные отношения со своими нежинскими товарищами, но уже тогда он был скрытен и высокомерен. Потом он выбирал себе друзей с большим знанием людей, поддерживал полезные знакомства и даже сумел найти себе поклонниц в самом высшем кругу общества. Однако, вследствие своей болезни он никого не мог привязать к себе, никто не любил его, как человека. «В воспоминаниях о Гоголе близко знавших его лиц нам приходилось часто слышать какие-то восторженно-умилительные ноты, и при том от таких, которые ценили в нем, как, напр., покойная княжна Репина, именно как человека, а не писателя. В признании за Гоголем чего-то величественного и прекрасного сходились они все, но подтвердить этого фактически или облечь свое впечатление в строго определенную рамку никто из них не мог, не исключая, быть может, также и Анненкова» (Шенрок, 11., 360). Действительно, Гоголь был велик, как гениальный художник, как глубокий знаток человеческих слабостей, но он был больной человек, и потому его друзья

и поклонники не могли его понимать, не могли облечь свои впечатления в строго определенную рамку».

«Для психиатра крайне интересно изучить отношения Гоголя к его друзьям, изучить эту сторону его жизни, во-первых, потому, что тут ярко проявлялась его болезнь, во-вторых, для того, чтобы объяснить, как выбирал друзей Гоголь, как к ним относился. Если бы Гоголь не был болен, то он нашел бы себе других друзей, завязал бы дружеские отношения с передовыми умами своего времени. Если бы он не был болен, то при своей гениальности ясно бы сознавал, что человечество признавало своими вождями и благодетелями только тех, кто вел их вперед, к свету».

Рассмотрение, хотя и краткое, дружеских отношений Гоголя дает новое доказательство его болезни, выясняет, до какой степени болезнь влияла на поведение многострадального поэта, лишила его возможности любить людей, любить хорошее в людях.

Понятно, что в жизни писателя самую большую роль должна играть дружба или, по крайней мере, знакомство с писателями, учеными, художниками. Каждый выбирает себе друзей в зависимости от своего темперамента, взглядов, направления, вкусов и потому очень важно рассмотреть литературные связи Гоголя, выяснить, кто были его друзья из среды писателей и ученых.

Тут прежде всего нас поражает, что чисто интеллектуальные, не деловые отношения у Гоголя были только к Пушкину, да и то можно думать, что даже дружба с Пушкиным была лишена практической подкладки. Мы, конечно, никогда не узнаем, как относился Гоголь к Пушкину, о чем они беседовали, но, следя за жизнью Гоголя, зная, каковы были отношения Гоголя к другим выдающимся лицам, необходимо притти к заключению, что Гоголь не был под влиянием Пушкина. Гоголю, конечно, была крайне лестна дружба великого поэта, которого он заставлял хлопотать у Уварова о кафедре, темами которого он пользовался. В 1835 г. после «На выздоровление Лукулла», отношения Гоголя к Пушкину, очевидно, изменились настолько, что автора «Ревизора» ничуть не интересовала драма, переживаемая в то время Пушкиным. В 1836 г. Гоголь настолько безучастен к Пушкину, что без малейшего колебания оставляет Петербург и, следовательно, лишает себя возможности пользоваться советами и указаниями Пушкина. Впрочем, и в 1834 г. он ничуть не колебался переехать в Киев, и тогда общество и «дружба» Пушкина значили для Гоголя очень мало. Уезжая надолго в 1836 г. из России, Гоголь так мало думал о Пушкине, что даже не навещил великого поэта, чтобы попрощаться с ним, попросить у него перед долгой разлукой советов и указаний. Само собой разумеется, что Гоголь не мог считать себя виновным в этом недостатке внимания по отношению к гениальному поэту, так много сделавшему для Гоголя. В письме к Жуковскому от 16 апреля 1836 года Гоголь пишет: «Даже с Пушкиным я не ус-

пел и не мог проститься: впрочем, он в этом виноват. Для его журнала приготовлю кое-что, которое, как кажется мне, будет смешно: из немецкой жизни. Плетневу скажите, что буду ему писать из Ахена». Итак, Гоголь даже не находил нужным писать Пушкину: обещанной повести он, конечно, не приготовил *)».

Ограничимся приведенными выше данными об отношении Гоголя к друзьям и добавим, что самая продолжительная и «глубокая» дружба Гоголя к Жуковскому зиждилась по Ч и жу на том, что, благодаря Жуковскому, Гоголь получал нужные ему на лечение пособия от Двора. Оттого Гоголь находил нужным писать Жуковскому, а не Пушкину.

Эмоциональная тупость и строгий базирующийся на нем эгоцентризм отмечались у Гоголя, как результат недостаточности постпитуитарной железы при наличии гипогонадизма с малых лет. Но начиная с 1840 года питуитарная недостаточность Гоголя, отчасти, видимо, от переутомления, отчасти от усиливающегося гипогонадизма, охватывает не только эмоциональную, но и интеллектуальную сферу, и у Гоголя развивается типичная картина все более прогрессирующего раннего слабоумия (*Dementia praecox*).

Тот факт, что Гоголь заболевает ранним слабоумием, красноречивее всего подтверждает наш и без того не подлежащий никакому сомнению эндокринологический диагноз гипогонадизма у Гоголя. Именно при *Dementia praecox* было многократно установлено наличие эндокринной недостаточности половых желез, и есть основание думать, что *dementia praecox* очень тесно связана с такого рода недостаточностью. Благодаря выпадению коррелятивного воздействия половых желез на питуитарную, в которой локализируются высшие интеллектуальные функции, может при особенно неблагоприятных условиях развиваться недостаточность и этой последней железы исходом в слабоумие.

Таков был случай Гоголя.

Не стану описывать здесь болезнь Гоголя, в виду того, что подробное описание явлений этой болезни прямого отношения к эндокринологическому анализу Гоголя не имеет. Это тем более лишне, что Г. Сегалин в своей статье «Шизофреническая психика Гоголя» *) дал нам хороший анализ симптомов болезни Гоголя в интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферах. Здесь я хотел бы только внести небольшую поправку к заключительным словам Сегалина о «шизофрении» (раннем слабоумии) Гоголя.

Сегалин пишет в своем «Заключении».

«Гоголь, несмотря на его тяжелое состояние, не был похож на обычного слабоумного шизофреника. Тут мы должны допу-

*) Цит. по Сегалину «Шизофреническая психика Гоголя» Арх. Ген. и Одар. Т. II. вып. 4. 1926.

стить ту мысль, что шизофрения у гениально одаренных людей протекает совершенно иначе».

Не иначе, в С е г а л и не заговорили громко чувства пиетета и глубокого уважения к памяти гениального художника, когда он писал эти строки! После того как С е г а л и н нашел буквально все типичные симптомы и характерное течение раннего слабоумия у Гоголя, он вдруг заявляет, что Гоголь не похож на «обычного слабоумного шизофреника» и ищет какую-то «специальную шизофрению» для гениально-одаренных людей! Это значит запутывать без нужды ясный сам по себе вопрос и, как говорят, «ложиться со здоровой головой в больную постель». Ясно совершенно, что начиная с 1840 г., когда Гоголь как-то сразу и раз навсегда потерял художественный свой талант, он сделался для психиатра самым «обычным» смертным и постольку необычным, поскольку он болеет все более и более прогрессирующим слабоумием. Упадок интеллектуальных сил у Гоголя бросается в глаза, у него развивается бред величия, религиозный бред, он совершает бессмысленные паломничества, вверяет себя попам и дьячкам, отказывается от пищи, теряет всякий здравый смысл и умирает в глубоком умопомрачении, принявшем вполне определенные формы еще задолго до смерти, — и все это не есть «обычное слабоумие шизофреника»? Чего еще надо?

К нашему эндокринологическому анализу Гоголя мы должны прибавить несколько слов о щитовидной и адреналиновых железах.

На высоте развития своего таланта эти железы находятся у Гоголя на высоте своей функции. Особенно адреналиновые железы. Гоголь чувствует в себе «львиную силу», неутомимо работает, он очень живой, поворотливый и едва ли чувствует утомление. С развитием болезни Гоголя развивается недостаточность и этих желез, так что в последний период жизни Гоголя мы имеем перед собой характерную картину плюригландулярной недостаточности эндокринной системы.

Резюме.

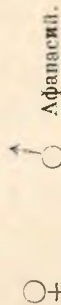
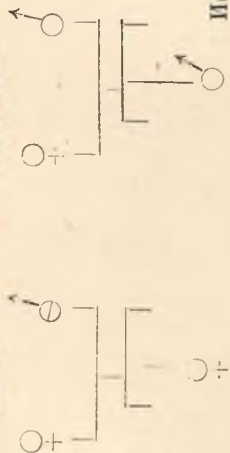
В период гениального творчества Гоголь характеризуется эндокринологически, как гипогонадопитуитарноцентрическая личность с явлениями недостаточности постпитуитарной доли. В период шизофренического заболевания (*dementia praecox*) Гоголь страдает плюригландулярной недостаточностью эндокринной системы.

Генеалогическая таблица Н. В. Гоголя.

Гоголь—Яновские

Старинный малороссийский род, пользовавшийся значением уже при Хмельницком. Один из предков писателя, Ян Гоголь, передал своим детям и внукам прибавку: Яновские.

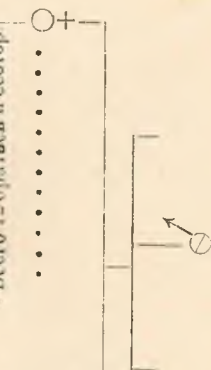
Косяровские.



Марья Ивановна,
мать Гоголя.

Василий Афанасьевич,
отец Гоголя.

Трушковские.



Николай Ва-
сильевич Гоголь,
(1809—1852)

Объяснение знаков:

- Известно или еорма.
- ⊖ Патологическая личность.
- ⊕ Одаренная личность.
- Туберкулез.

I.

II.

III.

IV.

V.

Бетховен.

(Патографический очерк).

Приват-доцент Н. А. Юрман.

26 марта 1927 года исполняется столетие со дня смерти величайшего, «великого из великих», не только композиторов, но и вообще людей — Бетховена. Все писавшие о Бетховене выражают свое изумление не только перед его композиторским общепризнанным, до настоящего времени еще не превзойденным никем гением, но и перед его психическим обликом как человека безукоризненной, высокой нравственности, неукротимой, непреклонной воли, затрагивающего в своих произведениях наиболее глубокие проблемы человеческого ума и чувства. Образ Бетховена невольно вызывает в уме величественный поэтический образ Прометея, гордого, несмотря ни на какие страдания, не смирившегося страдальца. Вопреки самым страшным ударам судьбы не только не упасть духом, но самому «схватить судьбу за глотку» и в конце концов все-таки петь «гимн радости» — задача посильная только титану, каким он и изображен у Макса Клингера.

Литература о Бетховене, особенно на немецком языке, огромна. Его личность затрагивалась в ней и с психопатологической точки зрения. Существует даже работа R. Fontaine'я с определенным заглавием—«Kann man bei Beethoven von Irrsinn reden!» (Allg. Wiener med Zeitung, 1911, № 44). И тем не менее я все-таки решаюсь вновь поднять этот вопрос. Следующие причины, мне кажется, оправдывают мое решение: во-первых, наши познания о патологических проявлениях душевной жизни вообще, слишком резко изменились за последние годы, и во-вторых, в течение последних же лет как у нас, так и за границей появились новые работы, посвященные решению вопроса о соотношении между гением, одаренностью и душевным расстройством и освещающие этот вопрос с новой точки зрения. Все это и заставляет попытаться вновь выяснить вопрос о том, наблюдались ли у Бетховена те или иные отклонения со стороны психической сферы, и если наблюдались, то определить их степень и характер и, наконец, приложить научные данные последних лет к решению вопроса о том, какое влияние оказали означенные патологические отклонения со стороны психики и на творчество такого гения, каким был Бетховен. С интересующей нас точки зрения имеющаяся о Б. литература дает достаточный материал. Начнем с вопроса о наследственности. Но прежде чем говорить о ее патологиче-

ской стороне следует указать на национальное происхождение Б. Предки Б. были нидерландские крестьяне. Дед Б. переселился в 1738 году из Антверпена в Бонн, где он получил сначала место певца, а затем капельмейстера в капелле курфюрста. По словам биографов в нем были «ясно видны зачатки всех тех особенностей и качеств, которые потом так ярко и характерно выразились в его знаменитом внуке. Он обладал выдающимся музыкальным талантом, силою воли и характера, переходившими нередко в «неукротимое упрямство». Будучи личностью незаурядной и в нравственном отношении он и в физическом отношении имел сходство с своим гениальным внуком: «широкоплечий, коренастый и физически сильный, как истый крестьянин, с пронизательными глазами». Как указывает Вагнер, фламандское происхождение и дух германского протестантизма, несмотря на то, что Б. был крещен по католическому обряду и получил католическое воспитание, ясно сказались и в его творчестве и в особенностях его свободолюбивого характера. Что касается патологической наследственности, то она проявляется в двух направлениях: со стороны матери — туберкулезная, со стороны отца — алкогольная. Мать Б., дочь придворного повара, «ограниченная, мало образованная, но очень добрая женщина и хорошая мать», о которой сам Б. отзывался в письме к доктору Шаде как о лучшем своем друге, умерла от чахотки в 1787 г. Брат Б. Карл Гаспар Б. умер от чахотки 15 ноября 1815 г. По свидетельству г. Карт, жительницы Бонна, знавшей с детства братьев композитора, он был «маленького роста, рыжеволосый, безобразный, а по характеру — недружелюбный, надменный, заносчивый, вспыльчивый». Алкогольная наследственность проявляется по отцовской линии — жена деда была пьяницей, при чем пристрастие к алкоголю у ней было так сильно выражено, что в конце концов дед Б. принужден был с нею растаться и поместить ее в монастырь. Из всех детей этой четы остался в живых только сын Иоганн, отец Б., родившийся в 1740 году. Отец Б. «умственно ограниченный и слабый волею человек, унаследовавший от матери порок, или, вернее, болезнь пьянства. Посредственный музыкант, он занимал всю жизнь должность певца в той же капелле, где был и отец, получая очень небольшое содержание». В последние годы под влиянием злоупотребления спиртными напитками он так опустился и нравственно и физически, что за несколько лет до смерти был уволен от службы. Про одного из братьев Б. уже сказано выше, другой брат Николаус-Иоганн отличался настолько непривлекательными нравственными качествами, что «внушал отвращение благородной душе Людвигу Б.». По словам Шиндлера он обладал «спесью глупца, алчностью барышника и необузданной чувственностью». Племянник Б. Карл, сын его брата Карла Гаспара, причинивший столько горя Б., представлял собою, повидимому, глубоко дегенеративную личность. С детства он отличался леностью, упрямством, крайней лживостью. Биографы отзываюся о нем как о человеке умственно ограничен-

ном, нравственно испорченном. Следует, однако, отметить, что причиною тех тяжелых, подчас трагических столкновений, коллизий, которые нередко возникали между Б. и его племянником Карлом, были не только патологический дефект в психике Карла, но и далеко отклоняющиеся от нормы странности в характере и самого Б. Относительно племянника Б. Карла интересны новые данные, приводимые в статье д-ра Vanesa. помещенной в специальном Бетховенском номере журнала «Die Musik» 1902 года. Д-р Вейдингер, сын одной из дочерей Карла Б., сообщил автору статьи сведения о своем дедe несколько противоречащие вышеприведенным. По его словам, Карл Б., будучи хорошим семьянином, был всецело предан воспитанию своих детей (4 дочери и один сын). Одаренный музыкальным талантом, он часто часами импровизировал за роялем. Возможно, что эти противоречивые сведения о характере племянника Б. объясняются и разницей в возрасте, относительно которого даются эти сведения. Возраст с течением времени мог значительно сгладить те отрицательные душевные качества, которыми характеризуется племянник Б. при жизни последнего, т. е. до 21 года. Что касается наследственного влияния в смысле музыкальной одаренности, то в этом отношении влияние идет по отцовской линии. И дед и отец Б. были профессиональными музыкантами—исполнителями. Дед Б., как уже сказано выше, переселившись в 1738 г. в Бонн, резиденцию курфюрста—архиепископа Кельнского, будучи незаурядным музыкантом, получил место сначала певца, а потом капельмейстера в капелле курфюрста. Сын его, отец Бетховена, был более посредственным музыкантом и занимал только должность певца в той же капелле. Детство Б. протекало в крайне неблагоприятных условиях. Отец, неисправимый алкоголик, обращался со своим сыном крайне сурово; грубыми насильственными мерами, битьем, понуждая его обучаться музыкальному искусству. Возвращаясь ночью домой в пьяном виде со своими приятелями—собутыльниками, он подымал с кровати уже спящего маленького Б. и заставлял его упражняться в музыке. Все это, в связи с материальной нуждой, которую испытывала семья Б. вследствие алкоголизма главы ее, несомненно, должно было сильно отразиться на впечатлительной натуре Б., закладывая уже в самом раннем детстве основы тех странностей характера, которые так резко проявлялись у Б. в течение его последующей жизни. Обусловленное алкоголизмом полное нравственное падение отца Б. в последние годы его жизни, заставило молодого Б. просить курфюрста об освобождении отца от должности и назначении ему пенсии. В то же время с пятнадцатилетнего возраста Б. был вынужден взять на себя заботы о материальной поддержке семьи. Таким образом, условия детской жизни Б. сложились крайне неблагоприятно и раннее ознакомление с тяжелыми, отрицательными сторонами жизни несомненно должно было способствовать преждевременному развитию его психической сферы, недаром уже в пятнадцать

лет Б., как он сам говорит, понимал, что «тот, кто не умрет умереть, жалкий человек». Музыкальная одаренность Б., как и у большинства музыкальных гениев, проявилась очень рано. «С четырехлетнего возраста я предан музыке» — пишет 11 летний Б. в своем письме-посвящении курфюрсту Кельнскому Максимилиану Фридриху с препровождением сочиненных им трех сонат для фортепьяно. Правильное обучение музыке началось на 5-м году. Об одиннадцатилетнем Б. современные газеты отзываются как о мальчишке «выдающихся дарований». 12-ти лет Б. заменяет своего учителя, во время его отсутствия по должности органиста, а на 14-м году он назначается курфюрстом вторым придворным органистом. Говоря о детстве Б. нельзя не упомянуть о полученном им общем образовании. Несомненно, оно было крайне недостаточно, что и сказалось, например, в том, что до конца жизни Б. в своих письмах нередко нарушал основные правила орфографии, делая подчас очень грубые грамматические ошибки. Тем же литературным и философским познаниям, которыми обладал Б., он всецело обязан самому себе, своему глубокому, интересующемуся всем великим во всех областях знания уму и в противоположность современным ему гениям Гайдну и Моцарту он, по словам биографа, был вполне сыном своего века, «усвоившим себе все умственные, нравственные и политические его течения». Физическим здоровьем Б. не отличался в течение всей своей жизни. В детстве он перенес натуральную оспу, оставившую заметные следы на его лице; ясно выраженная асимметрия его подбородка является результатом деформации кожи оспой. На 17-м году, вскоре после смерти матери, он жалуется в письме к доктору Шаде на одышку и меланхолию и при этом высказывает опасение, что червал «может превратиться в чахотку». 25-ти лет в своей записной книжке он говорит о «немощи тела». Затем в течение всей жизни он страдал расстройством желудочно-кишечного канала, периодически то усиливающимся, то ослабевающим. В письме к Вегелеру Б. пишет о «желудочных болях» с постоянными поносами, которыми «еще прежде страдал», об «ужасной колике», которою он страдал в течение всей зимы. В 1804-1805 г. Б. перенес «тяжелую перемежающуюся лихорадку». В течение зимы 1810—11 года он страдал сильными головными болями, которые заставляли его иногда оставаться в постели в течение нескольких дней подряд, причем к головным болям присоединялась еще опухоль ног. Весною 1818 года, по словам знакомой Б., дель-Рио, он пролежал в постели несколько недель, страдая своей «обычной болезнью желудка, в борьбе с которой он тщетно употреблял всевозможные лечебные средства». «Эта болезнь когданибудь покончит со мной» сказал Б. при встрече с дель-Рио по выздоровлении. В конце 1821 года и в начале 1822 г. Б., по словам биографа, «стал жаловаться на сильные ревматические боли, затем у него разлилась желчь, вследствие всего этого его душевное настроение сделалось весьма тяжелым и тоска спова овладела им в сильнейшей степени». В течение всего лета 1824 года Б. неоднократно жаловался

на свое здоровье, главным образом, на болезнь желудка. Несколько оправившись к осени, в октябре он снова серьезно заболел. В последние годы своей жизни Б. часто жалуется на «воспаление кишек», «страдание желудка», «кровотечение из носу» и другие заболевания. В августе 1824 года Б. часто боялся умереть внезапно от припадка, «как мой любимый дед, с которым я имею столько сходства», пишет он 16 августа 1824 года доктору Баху. В мае 1825 года он харкал кровью и были кровотечения из носу. 9 июня 1825 года он пишет своему племяннику: «моя слабость достигает часто крайней степени. Старуха с косой не замедлит прийти». С 3 декабря 1826 года Б., как он сам пишет Штумпфу в Лондон, страдает брюшной водянкой. 4 раза ему делали прокол живота и 26 марта 1827 года он скончался. Повидимому, болезнь началась воспалением легких, которое осложнилось брюшной водянкой, на почве бывшего у Б. цирроза печени. Пользовавшийся Б. врач Мальфатти, бывший с ним в дружеских отношениях и хорошо знавший его, так определил причины болезни: «*sedebat et bibebat*». Рано начавшаяся и постепенно прогрессирующая глухота играла громадную роль и в творчестве Б. и в том влиянии, которое она вообще оказала на его психическую сферу. При обрисовке психики Б. приходится все время учитывать ее влияние, что, конечно, значительно затрудняет точное выяснение характера патологических отклонений со стороны психической сферы. По Краепелину «При приобретенной тугости слуха можно встретить иногда однообразные ипохондрические идеи с слуховыми обманами и бредом отношения, которые могут, повидимому, в течение многих лет существовать, не получая дальнейшего развития. Хотя в виду крайней трудности понимания этих случаев нет почти никакой возможности ясно представить себе полную картину душевного состояния таких больных, многие все же пытались доказать причинную связь этого «психоза тугих на ухо» («*Psychose der Schwerhörigen*») с заболеванием ушей. До некоторой степени он является как бы в дальнейшем развитии обычной подозрительности, так легко появляющейся у плохо слышащих людей, присоединяясь к слуховым обманам, возникающим частью вследствие болезни ушей, частью вследствие напряжения внимания при отсутствующих внешних впечатлениях».

В своем Хейлигенштадтском завещании, написанном 6 октября 1802 года на 32 году жизни, Б. дает указание на время возникновения у него ослабления слуха и в то же время в ярких, полных трагизма красках описывает то громадное влияние, которое оказала постепенно прогрессирующая глухота на его психическую сферу. По его словам, он «уже шесть лет» находится «в неизлечимом состоянии, ухудшенном негодными врачами». Далее он пишет: «по природе своей пылкого, живого темперамента, склонный к развлечением в обществе, я рано вынужден был уединиться, проводить жизнь в одиночестве. Иногда приходило мне на мысль пренебречь всем этим; но, как сурово отталкивало тогда меня, вдвойне ужасное сознание поврежденного слуха, а между тем,

я не мог обращаться к людям с требованием: «говорите громче, кричите, потому что я глух». Да и возможно ли было указывать на слабость чувства, которое у меня должно быть развито гораздо более, чем у других, чувства, которым я некогда владел в высшей степени, в таком совершенстве, как немногие из музыкантов владеют или когда либо владели. О, это свыше сил моих. Поэтому не вините меня, если я удаляюсь отсюда, где охотно хотел бы пробыть с вами. Несчастье мое, если я только признаюсь в нем, причиняет мне двойную боль. Не для меня отдых в обществе, в душевных разговорах, во взаимных сердечных излияниях. Очень редко и только по крайней необходимости могу я входить в сношение с обществом. Я должен жить подобно изгнанному. Как только приближаюсь к людям, мною овладевает боязнь обнаружить свое состояние. Так это было в продолжении последнего полугодия, проведенного мною в деревне. По совету моего толкового врача,—как можно более беречь слух свой, что вполне соответствовало моему положению,—я, несмотря на появляющуюся часто потребность в обществе, избегал его. Какое унижение приходилось мне испытывать, когда стоявшие близь меня слышали издали флейту, а я не слышал ничего, или когда ктонибудь слышал пение пастуха, я же опять ничего не слышал. Подобные случаи доводили меня почти до отчаяния; еще немного и я покончил бы с жизнью. Только одно оно, искусство, удерживало меня». Б. просит своих братьев, к которым обращено Хейлигенштадтское завещание, чтобы лечивший его профессор Шмидт после его смерти описал бы его болезнь и просит присоединить завещание к этому описанию, «дабы человечество, сколько возможно, хоть после моей смерти примирилось со мною». В письме к Францу Вегелеру от 29 июня 1801 года Б. жалуется на то, что «в продолжении последних трех лет» он «стал слышать все хуже»; «в ушах шум и рев продолжают день и ночь. Признаюсь, жизнь моя жалка: почти два года избегаю всякого общества, так как не могу открыться в том, что я глух. Если бы у меня было другое занятие, то беда была бы невелика, но при моей специальности—это ужасно. К тому же еще враги мои, число которых довольно значительно... Что они скажут». Относительно несоответствия хронологических дат о начале ушного страдания в Хейлигенштадтском завещании и в письме к Вегелеру доктор Нагель в своей статье о Хейлигенштадтском завещании (*Die Musik, 1920, Märzheft*) склоняется считать более верной дату в письме к Вегелеру. Имея в виду то обстоятельство, что прежде всего Б. перестал слышать высокие тона, доктор Нагель полагает, что в данном случае имелось дело с прогрессирующей глухотой на почве катарра среднего уха. Вопрос о том, развилось ли ушное страдание у Б. на почве врожденного дефекта слуха или из предшествующего острого заболевания, доктор Нагель решает в пользу последнего и в качестве возможной причины перехода острого заболевания в хроническое считает те лечебные эксперименты, которым подвергнулся Б. со стороны пользовавшихся его врачей.

Хотя, мне кажется, прав д-р Клотц-Фореста, который, не отрицая влияния плохого лечения, полагает, что в основе болезни лежало общее влияние наследственности. Не без влияния на развитие глухоты могла служить и привычка Б. при приливах крови к голове во время усиленной работы обливать голову холодной водой, на что указывает доктор Брейнинг, лично знавший Б. с детства. Приблизительно с осени 1815 г. Б. почти совершенно оглох и для разговора начал употреблять тетради, в которых разговаривающие с ним писали свои вопросы и ответы. Относительно того, как отражалась на характере Б. его глухота, интересно показание д-ра Брейнинга, который пишет Вегелеру: «Вы не поверите, какое неопишемое, ужасное впечатление произвело на него усиливающаяся глухота. Представьте себе сознание своего несчастья при его вспыльчивом характере; при этом скрытность, недоверие даже к лучшим друзьям, во многом страшная нерешительность. Большею частью, за исключением тех случаев, когда в нем проявляется непосредственное чувство, быть с ним — истинное мучение, нужно все время держать себя в руках».

Таким образом, из изложенного, мне кажется, ярко обрисовываются те патологические черты характера Б., которые были обязаны своим происхождением постепенно прогрессировавшей глухоте. Но глухота, сыгравшая такую трагическую роль в жизни Б., с другой стороны, несомненно являлась положительным фактором в его творчестве. Вагнер в своей работе о Б. так определяет это положительное значение глухоты: «шум жизни перестал беспокоить Б. и великий артист, прислушиваясь только к гармониям своего духа, только из глубин этого духа стал говорить тому миру, — который сам ничего уже не мог сказать ему. Так освободился гений от всего, что было «извне» и остался совершенно «при себе» и «в себе»... Сущность вещей только теперь говорит с ним и показывает ему свою видимость в спокойном сиянии красоты. Теперь понимает он лес, ручей, дуга, голубой эфир, веселую толпу, влюбленную пару, пение птиц, движение туч, волнение бури, отрадную зыбь блаженного покоя. Все его зрение и все его созидание проникаются той чудесной, ясной бодростью, которую впервые Б. сделал достоянием музыки... Никогда еще никакое искусство в мире не создавало чего нибудь до такой степени светлорадного, как симфонии A—dur и F—dur со всеми другими, столь родственными им композициями Б. этой божественной эпохи его полной глухоты. «Он же глухой для земли, неземные подслушал рыданья», говорит об этой же «божественной эпохе» наш поэт Алексей Толстой.

Физический облик Б., так как он описывается его современниками, представляется в следующем виде, при чем следует здесь же отметить, что сам Б., как это видно из его письма к Глейхенштейну, не считал себя красивым и иронически относился к своей внешности. Коренастый, широкоплечий, с сильными руками, с крупными, волосатыми, как бы обрубленными пальцами, меньше

среднего роста, сутуловатый, «с большой головой, покрытой густой гривой волос, сидевшей на короткой шее и напоминавшей голову льва. Лицо было багрового цвета, с резкими и в то же время мясистыми чертами; на нем были следы оспы. Заметное неравенство двух половин подбородка, происшедшее от глубокой оспенной язвы; широкий и высокий лоб, выражающий мощную силу духа; нависшие брови; широкий и мясистый нос; широкий рот с сжатыми губами; несколько выдающаяся нижняя челюсть; тупой неправильный подбородок; наконец, темные глаза, небольшие, но необыкновенно глубокие, светившиеся иногда мягким пламенем, проникавшим в самую душу, а иногда загоравшиеся демоническим блеском, заставлявшим содрогаться,—такова была физиономия Б.». Всех современников Б. особенно поражали его глаза, та душевная красота, которая светилась в них. По словам доктора Калишера, посвятившего глазам и болезням глаз Б. особую работу (*Die Musik*, 1902, Märzheft), к Бетховену более чем к кому либо подходили слова: «Das Auge ist das Leibes Licht». Калишер же в своей работе говорит о близорукости Б. Заканчивая описание внешности Б., нельзя не упомянуть о кратком, но выразительном описании Бетховенского лица Вагнером: «выражением Бетховенского лица является поэтому судорога: судорога упорства держит этот нос, этот рот в том напряжении, которое никогда не может разрешиться в улыбку, а только в громкий хохот». Говоря о внешности Б. следует сказать несколько слов и об его отношении к одежде, костюму. Если в молодые годы он заботился о своем костюме, одевался по моде, элегантно, то в последние годы жизни он совершенно перестал заботиться о своей одежде, доходя до крайней неряшливости. По словам современников «его седые волосы висели в беспорядке. Полы его незастегнутого сюртука (голубого с медными пуговицами) развевались по ветру также, как и концы белого шейного платка, карманы его были страшно оттопырены и оттянуты, так как они вмещали в себе, кроме носового платка, записную книжку, толстую тетрадь для разговоров и слуховую трубку. Свою шляпу с огромными полями он носил несколько назад, чтобы лоб был открыт (впрочем, шляпу он беспрестанно терял)».

Таким образом, как конституциональный тип Б. следует причислить к пикникам, а из этого сделать соответственное заключение и о его психической конституции. И, действительно, если проследить состояние психической сферы Б. в течение всей его жизни, то можно подметить некоторую периодичность, некоторые колебания в его настроении. Продолжительные периоды повышенного, бодрого настроения, радостного ощущения жизни сменялись периодами глубокой депрессии, отчаяния. Мы видим, что обычно веселый, склонный к шутке, остроум, юмору, как при личных отношениях со своими друзьями, знакомыми, так и в своих письмах, иронизирующий над собою даже во время своей последней предсмертной болезни (во время прокола живота Б. при виде большого количества выпущенной жидкости, восклик-

нул со смехом, что оператор представляется ему Моисеем, источающим воду из земной утробы и при этом прибавил: «я предпочитаю видеть, что вода течет из моего живота, а не с моего пера»). Временами Б. впадает в такое отчаяние, что даже думает о самоубийстве и только нравственное чувство и искусство, по его словам, удерживают его от такового. Но при оценке настроения у Б. приходится быть очень осторожным, так как в этом случае приходится все время иметь в виду возможность влияния различного рода внешних факторов. Неблагоприятные родственные отношения к братьям, племяннику, временами очень тяжелые материальные условия, непонимание, непризнание современниками неудачи в попытках устроить свою семейную жизнь и наконец постепенно усиливающаяся глухота, все это несомненно могло оказывать резкое влияние на настроение Б., давая в результате периоды продолжительной депрессии чисто физиологического характера. И в данном случае приходится только удивляться стойкости характера Б., который, несмотря на самые тяжелые удары, которые ему наносила судьба в течение всей его жизни, все же не сдавался и до конца своей жизни остался стойким оптимистом, для которого вполне подходило слова Шиллера из «Орлеанской девы» «Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude», хотя радость эта, как говорит сам Б. родилась из страдания» *durch Leiden Freude*. В качестве, до некоторой степени показателя наличия или отсутствия периодических колебаний циклотимического характера в настроении Б. могло бы послужить изучение творчества Б. и не только относительно содержания его произведений, где эти колебания, несомненно, резко сказываются, но и относительно его продуктивности в течение известных периодов времени. Но и тут в выводах приходится быть очень осторожным, принимая во внимание возможность влияния на творчество Б. уже вышеприведенных неблагоприятных внешних факторов. Если расположить произведения Б. в хронологическом порядке (я воспользовался для этой цели систематическим указателем всех произведений Б. Фриммеля, помещенным в сочинении А. Г. Кен «Бетховен»), то резко выраженных периодических колебаний в продуктивности по годам не наблюдается. Ролан указывает на промежутки времени с 1816 по 1821 г., в течение которого Б. написал только три сонаты (op. 101, 106 и 109), не считая мелких произведений, но следует добавить, что одно из величайших произведений Б. — *missa solemnis*, — начато в 1818 году, т. е. как раз в середине этого периода времени. Тем не менее нельзя не признать наличия у Б. свойственных его конституции периодических колебаний настроения. Косвенным доказательством этих колебаний могла бы служить другая выдающаяся черта в характере Б., то отчуждение от людей, от окружающего мира, которое несомненно у него наблюдалось. Это отчуждение прогрессировало с его возрастом и в тоже время периодами колебалось то в ту, то в другую сторону. С первого взгляда оно могло бы подойти под

понятие аутизма, но говорить о настоящем патологическом аутизме, мне кажется, здесь не приходится. Уже сама гениальность Б., его значительное превосходство и в художественном, и вообще в умственном отношении над современниками, могли явиться причиной того кажущегося аутизма, можно бы назвать псевдоаутизма, который в той или иной степени должен наблюдаться у всех более или менее выдающихся, идущих впереди своих современников людей. Значительную роль в этом отношении сыграло и страдание ушей, приведшее в конце концов к почти полной глухоте. С другой стороны нельзя не отметить, что склонность к уединению, к одиночеству была врожденным качеством характера Б. Биографы Б. рисуют его молчаливым задумчивым ребенком, предпочитающим одиночество обществу сверстников; по их словам, он был способен по целым часам сидеть неподвижно, глядя в одну точку, всецело погруженный в свои думы. В значительной мере влиянию тех же факторов, которыми могут быть объяснены явления псевдоаутизма, могут быть приписаны и те странности характера, которые наблюдались у Б. с молодых лет и отмечаются в воспоминаниях всех лиц, знавших Б. Поведение Б. носило часто настолько экстраординарный характер, что делало общение с ним крайне затруднительным, почти невозможным и давало повод к ссорам, иногда оканчивавшимся продолжительным прекращением сношений даже с лицами наиболее преданными самому Б., лицами, которых он сам особенно ценил, считая своими наиболее близкими друзьями. Елена Брейнинг, в семье которой молодой Б. до своего отъезда в Вену находил самое участливое отношение к себе, и которую он называл своею второю матерью, говорила про Б. в тех случаях, когда на него находило дурное расположение духа, *er hat wieder seinen Raptus*. В 1800 г. в письме к Вегелеру, Б., прося его передать Е. Брейнинг сердечный поклон, прибавляет: «скажи ей, что на меня и теперь иногда находит *raptus*». Венские учителя Б. отзывались о нем как об ученике, страстно жаждавшем знания, но необыкновенно своенравном и непокорном, с великой неохотой подчинявшемся стеснительным правилам и теориям, установленным общепризнанными авторитетами в музыке. Гайдн назвал его «великим моголом, революционером и атеистом». Гете в письме к Цельтеру в 1812 году пишет про Б.: «это совершенно необузданная личность. Хотя он вполне вправе находить мир достойным презрения, но этим он нисколько не сделает его более приятным ни для себя, ни для других. Его, однако, очень можно извинить и пожалеть, так как он в настоящее время теряет слух и это может быть вредит менее его музыкальным способностям, чем общению с людьми. И без того лаконичный по природе, он сделается им еще более вследствие этого недостатка». Для характеристики вспыльчивости Б. может служить известный факт, когда во время обеда в ресторане, в ответ на грубый ответ кельнера, он мгновенно вспылил и выворотил на голову последнего

блюдо с венским рагу, полное соуса. По словам биографов Б., «из людей ему близких едва ли хоть ктонибудь избег этих внезапных разрывов дружбы, сопровождавшихся бранью, криком, и шумом: ссоры с братьями и племянником иногда доходили почти до драки». Из приведенных примеров видно, что во многих случаях играли роль и значительное превосходство Б. над своими современниками и его подозрительность, мнительность в связи с его глухотой, а иногда может быть и недостаточно тактичное, корректное отношение к нему и близких к нему лиц, как это было, например, в ссоре Б. с Шиндлером в 1824 году. Тем не менее, на вычетом всего этого, всетаки остаются такие факты, которые можно объяснить только болезненным характером психики самого Б., гнездящимся в вышеописанной уже патологической наследственности. Говоря об особенностях психической личности Б. нельзя не коснуться его писем. По словам Корганова, в переводе которого письма Б. изданы на русском языке, Б. писал с такими непростительными отступлениями от каллиграфии и от грамматики, таким своеобразным, отрывистым и тяжелым слогом, что письма его производят порою впечатление безсвязного набора слов и знаков, Б. любил игру слов, остроты, шутки, но все это сопровождалось у него странными оборотами речи и причудливыми выражениями, которые часто затемняют мысль автора, делают ее непонятною не только в переводе, но даже в оригинале». Здесь же следует добавить, что шутки, остроты Б. были не всегда удачны, тяжеловаты, несколько грубы. Сам Б. в своих письмах сознается, что он иногда «шутит не совсем прилично», бывает иногда «очень невежлив». При описании психического облика Б. представляется крайне важным выяснить наличие или отсутствие у Б. тех экзогенных факторов, которые могут оказать, особенно при продолжительном воздействии, значительное трансформирующее влияние на психику человека. В первую голову конечно, приходится говорить об алкоголе. Когда читаешь о тех нередко грубых, резких выходках, которые наблюдались у Б., о его подчас тяжеловатой, неуклюжей манере шутить, острить, так ярко проявляющейся в его письмах, о внезапных, не всегда достаточно мотивированных вспышках сильного гнева, невольно возникает сомнение, не было ли повинно во всех этих проявлениях и хроническое отравление алкоголем, для которого перечисленные явления представляются довольно типичными. Если для выяснения этого вопроса обратиться к показаниям современников, то ответы получаются несколько неопределенные, противоречивые. Выше мною уже приведено мнение врача Мальфатти, который определил причину смертельной болезни Б. словами «*sedebat et bibebat*». По словам биографов, Б. охотно пил чистое венгерское вино, но предпочитал ему поддельные вина, которые, однако, вредно действовали на его пищеварительные органы. В письме к Кюлау Б. пишет: «я лишний раз убедился на опыте, что шампанское скорее подавляет мои творческие силы, чем возбуждает их». Он был не прочь,

однако, посидеть вечерком в ресторане за кружкой пива и газетой, в кругу близких приятелей. Только в последние годы жизни, и то под влиянием временной дружбы с К. Гольцем, Б. прибегал иногда к вину, чтобы заглушить свои душевные и телесные страдания». Таким образом, если нельзя вполне отрицать наличие у Б. влияния алкоголя, то во всяком случае это влияние могло сказаться на психике только уже в последние годы жизни Б., между тем как те черты характера Б., которые могли казаться подозрительными в смысле их алкогольного происхождения, наблюдались у него почти в течение всей его жизни, во всяком случае еще в молодом возрасте, когда о влиянии алкоголя на их происхождение говорить не приходится. Наконец, против наличия у Б. патологических проявлений со стороны психики алкогольного характера, по крайней мере в ясно выраженной форме, говорят, с одной стороны, та высокая нравственная чистота, которою он отличался до последних дней своей жизни, а с другой стороны и тот постоянный, неизменный прогресс творчества, при отсутствии выработки хотя бы и своего собственного, гениального трафарета, шаблона, который у Б. наблюдался тоже до последних дней его жизни. «Semper Avanti» могло бы быть девизом его творчества. Все это несовместимо с хроническим алкоголизмом. Можно привести не мало примеров, в которых у лиц, являвшихся в свое время наиболее передовыми, подчас революционными творцами в той или иной области художественного творчества, при наличии алкоголизма постепенно приостанавливается, затормаживается прогрессивный ход их художественного творчества. В конце концов вырабатывается шаблон, происходит перепев старых мотивов.

В виду того громадного, теперь уже общепризнанного значения, которое имеет для творческой деятельности сексуальная жизнь, необходимо подробно остановиться на ней и по отношению к Б., у которого в этой области, несомненно, наблюдались значительные отклонения от нормы. Указаний на то, как шло половое развитие у Б. в детстве и в ранней молодости—не имеется. По-видимому, у него не было, например, ранней влюбчивости, наблюдающейся у некоторых гениальных, выдающихся людей, как, например, у нашего Скрябина. Первым его юношеским легким увлечением была его ученица Элеонора фон-Брейнинг, затем более сильным ее подруга Жаннета Гонрат. К боннскому же периоду его жизни относится увлечение племянницей графа фон-Вестфаль. Но, как говорит один из ближайших друзей Б.—Вегелер, он «был всегда в когонибудь влюблен и большею частью в сильнейшей степени» и потому и в дальнейшей жизни Б. мы встречаем ряд женщин, служивших объектом его глубокой, сильной привязанности, любви. Магдалена Вильман, графиня Джульетта Гвичиарди, Тереза Мальфатти, Беттина Брентано, Амалия Зебольд, Мария Кошак, все они в течение более или менее продолжительного времени находили себе место в «любвеобильном сердце Б.» и тем обессмертили свои имена. Но из всех сравнительно

многочисленных увлечений Б. женщинами, увлечений по большей части очень сильных, по крайней мере со стороны Б., ни одно из них, выражаясь банальным языком, не пришло к благополучному концу. При этом во всех случаях возникавшее взаимное влечение прерывалось не со стороны Б., а с другой стороны. Какие же причины были той неудачи, которую Б. встречал в своих отношениях к любимым им женщинам. Несомненно, значительную роль играли в этих постоянных неудачах, резко выраженные странности, особенности характера самого Б., которые делали его подчас трудно выносимым даже для его близких друзей. Подтверждение этого мы имеем в показаниях любимых им женщин. Например, певица Магдалена Вильман, которой Б. сделал предложение в 1799 году, говорила о нем: «он был так некрасив и полупомешан». И если Б. был иногда трудно переносим даже для боготворивших его друзей, с ним вместе не живших, то, конечно, едва ли была бы счастливой совместная жизнь Б. даже и с горячо любимой им женщиной. Но, мне кажется, что если Б. так и не удалось жениться ни на одной из любимых им женщин, то можно предполагать, что он вообще не знал женщин, остался всю жизнь девственником. Тэн говорит про Бетховена, «испытывая любовь к женщине, он жил в идеальном мире, который описывали Петрарка и Данте, и его любовная страсть несколько не уменьшала его аскетизма. Не будучи в состоянии жениться, он оставался целомудренным; он любил также чисто, как и писал; он читал отвращения к непристойным разговорам...» Помимо странностей характера, его неудачи в отношениях к женщинам могут объясняться и его, если можно так выразиться, недостаточно развитою физическою сексуальностью, слишком большим идеалистическим уклоном, который он проявлял по отношению к своим «бессмертным возлюбленным», которые, может быть хотели от него более простого, присущего обыкновенным смертным отношения. Эту сторону взаимоотношения полов тонко обрисовывает португалец Эса де Кайрош в «Переписке Фрадика Мендеша», когда говорит: «только доля материализма, заключающаяся в человеке, заставляет женщину подчиняться неискоренимой в нем доле идеализма, которая приносит столько волнения миру. Больше всего повредили Петрарке в глазах Лауры его сонеты. И когда Ромео, стоя еще одной ногой на шелковой лестнице, медлил, изливая свой экстаз в обращениях к Ночи и Луне, Джульетта нетерпеливо стучала пальцами по перилам балкона и думала: «Ах, какой же ты болтун, сын Монтеки». Этой детали нет у Шекспира, но она подтверждается всем Возрождением. Так и Б. мог писать своим «бессмертным возлюбленным» обширные послания, в которых он в самых отвлеченных, неземных выражениях изливал свое чувство любви и в то же время трудно себе представить, чтобы он, при его крайне целомудренных взглядах на отношение мужчины к женщине, позволил бы себе в порыве увлечения горячо обнять, поцеловать любимую им женщину. Насколько вообще были строги, целомудренны

взгляды Б. на взаимоотношения полов видно из его отношения к внебрачному сожителю его брата. Встретив в доме своего холостого брата молодую женщину, жившую в качестве экономки и имевшую уже незаконного ребенка, Б. в порыве возмущения обратился к местному епископу, к начальнику полиции, поднял на ноги все городские власти и добился распоряжения об изгнании несчастной экономки и только законный брак успокоил его нравственное чувство. С одним близким к нему музыкантом Б. прервал всякие сношения только из-за того, что он вступил в связь с замужней женщиной. Но то, что не допускал Б. по отношению к другим, он при его высокоразвитом нравственном чувстве, несомненно, не допускал и по отношению к себе. Таким образом, не будучи женатым, он должен был оставаться девственником и можно предполагать, что, как результат сублимации его полового чувства, человечество получило величайшие художественные произведения. «Если бы Данте обнял свою Беатриче, если бы Лаура сварила своему Петрарке хлебную похлебку, то первый никогда бы не мог сделаться своими бессмертными канцонами Гомером христианского мира, а вечная гармония сонетов Петрарки была бы заглушена несносным детским криком». (Ауэрбах, «Спиноза. Жизнь мыслителя»). С таким же основанием можно сказать, что если бы Б. женился на одной из своих возлюбленных и зажил даже счастливою семейною жизнью, то человечество может быть лишилось одного из величайших своих гениев или во всяком случае не получило бы многих из его произведений, явившихся результатом сублимации его сердечных влечений. Можно указать, например, что в 1806 году в период увлечения Терезой Брунsvик, Б. создал такие произведения, как сонату «Apassionata», четвертую симфонию, концерт для скрипки с оркестром (op. 61), концерт для фортепиано с оркестром (op. 58) и квартеты Разумовского (op. 59). В этом отношении характерны слова самого Б., сказанные им Шиндлеру в 1823 году относительно своего увлечения графиней Гвичиарди—«если бы я свои жизненные силы так тратил в течение жизни, что же осталось бы у меня для лучшего, более благородного». А накануне свадьбы графини Гвичиарди он говорил художнику Макко: «пишите картины—я буду писать ноты; и так мы будем жить вечно—да, может быть, вечно». Платонический характер увлечений Б. сказался и в его музыке. Если, например, у Скрябина музыка часто насыщена эротизмом, сексуальною чувственностью, то у Б. музыка, можно вполне определенно сказать, никогда и нигде не носит сексуально-чувственного характера. Если Б. в своих некоторых произведениях и выражает свои любовные чувства, то он делает это как и в своих пьесах к любимым женщинам в таких отвлеченных, «лунных», мистических тонах, что о чувственности, грубой страсти не может быть и речи, да и это противоречило бы всему психическому облику Б., такому цельному во всех отношениях. «Он не отказывался окончательно воспевать музыкой любовь, но он воспевает ее в чистейшем платоническом понимании», говорит

о Б. Л. Эккард. Письма Б. к любимым им женщинам могут служить прекрасной иллюстрацией—программой к некоторым его музыкальным произведениям.

При ознакомлении с биографией Б. несколько поражает обилие судебных дел, которые пришлось вести Б. в течение всей его жизни. Уже выше было указано, как Б., возмущенный безнравственным, по его мнению, поведением брата, за содействием для выселения жившей с ним экономки, обратился к местному епископу, начальнику полиции, городским властям. С 1811 по 1815 г. Б. вел процесс с опекунами князя Лобковица и наследниками князя Кинского по поводу нарушения условий назначенной ему эрцгерцогом Рудольфом и князьями Лобковицом и Кинским пенсии. В 1814 году он затевает процесс с изобретателем метронома Медьцелем, позволившим себе без разрешения Б. в нескольких концертах исполнить его «Победу при Витторио». С 1816 по 1820 г. Б. ведет судебный процесс, требуя передачи ему опеки над племянником Карлом с полным устранением от участия в опеке матери Карла. Невольно возникает вопрос, не имеется ли в данном случае известной доли болезненного сутяжничества, кворулентности. Но, во-первых, для возбуждения вышеописанных судебных дел у Б. всегда были достаточные поводы, в особенности принимая во внимание его щепетильную честность, чуткость ко всякому правонарушению, а, во-вторых, и весь вообще психический облик Б. не соответствует тому представлению, которое мы себе составили о кворуленте, сутяге. «Я никогда не мщу, пишет он Штрейхер, когда я вынужден действовать против других людей, я делаю только самое необходимое для своей защиты, или чтобы помешать сделать мне зло».

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, приходится прийти к следующим выводам: Б., происходя из семьи с резко выраженной патологическою наследственностью (алкоголизм по отцовской линии, туберкулез со стороны матери), не страдал какой либо ясно выраженной формой душевного расстройства, тем не менее со стороны его психики наблюдался ряд аномалий как со стороны настроения (явления циклотимии), так и в других областях психической сферы, которые не позволяют признать его вполне нормальным в психическом отношении человеком. Несомненно имеется дело со сложным, не укладывающимся в определенные рамки той или иной классификации патологическим характером. Эта сложность, как мною уже было указано, в работе о Скрябине в подтверждение мнения Kretschmer'a, является, повидимому, характерной для психических аномалий, наблюдаемых у выдающихся композиторов. У Б. эта сложность психических аномалий увеличивается еще вследствие того несомненно огромного влияния, которое оказывала на его психическую сферу постепенно прогрессирующая глухота. В вышеуказанном очерке R. Fontaine «Kann man bei Beethoven von Irrsinn reden» автор возражает против мнений о Б. Lombroso и Grasset, из которых первый считал Б. душевно-больным, а вто-

рой полупомешанным. (Halbirre). Fontaine приводит мнение о Б. Zeller'a, который писал Goethe в 1812 году «ich bewundere ihn mit Schrecken» и позднее в 1819 г. — «man sagt, er sei ein Narr» и в то же время в конце своего очерка категорически утверждает, что Б. был гением, а не душевно-больным. В этом противопоставлении проявления гения душевной болезни сказывается еще старый взгляд, по которому признание наличия тех или иных уклонов со стороны психической сферы у лица выдающегося по своим умственным или художественным способностям является чем то опорачивающим для данной личности или во всяком случае уменьшающим значение продуктов его творческой деятельности. Что касается соотношения между патологичностью психики Б. и его творчеством, то мною уже было выше указано на соотношение между творчеством и половым чувством, на творчество Б. как результат сублимации полового чувства. Но соотношение между патологичностью психики и творчеством в данном случае является несомненно более сложным и должно быть рассматриваемо, согласно взглядам тех современных психиатров (Jaspers, Demol, Сегалин и др.), которые в душевном расстройстве, в психотизме видят растормаживающий, диссоциативный компонент одаренности и гениальности, благодаря которому и выявляются в форме творчества скрытые силы гениальной одаренности.

К патографии Сергея Есенина *).

Д-ра В. С. Гриневича.

(Ординатора Клинического Отд. Смоленской Обл. Псих. Б-цы).

Сергей Есенин, по единогласному признанию всех критиков, один из значительнейших поэтов современности. Мало того, «Есенинщина» имеет и общественно-психологическое значение. Вокруг посмертного анализа творчества поэта загорелись споры и диспуты. Видные общественные деятели обратили на Есенина свое внимание. Ряд прочувствованных строк посвятил ему Лев Троцкий. Наоборот, беспощадно критикует Есенина Л. Сосновский и «Хорошенький залп» дает по Есенину Н. Бухарин. Все это свидетельствует за то, какой интерес представляет патографическое изучение личности поэта, которое, как мы увидим это далее, представляет единственный правильный метод подхода к анализу его творчества.

Для всех, знакомых с биографией Есенина, сразу бросаются в глаза некоторые психопатические особенности его личности.

В Есенине, «городском гуляке, забияке, скандалисте, озорнике, безрассудном моте и больном человеке, заострявшем свой противоречия и обнажавшем их напоказ» (Воронский), в Есенине—хулигане, за какового до самой смерти принимали его однопороденцы (Цейтлин), в Есенине—алкоголике, допившемся до алкогольного психоза (И. Галант), не трудно узнать психопата. Дальнейшее же исследование, предпринятое нами, открывает и характер его психопатии, которая имеет все особенности, как это следует из изложенного ниже, шизоидии в смысле Kretshmer'a и Bleuler'a или шизопатии Перельмана. Последний термин представляется нам, как более широкий по объему и наиболее удачным.

Не имеется никаких данных о наследственности поэта, которую сам поэт, по замечанию Воронского, даже скрывал.

Из автобиографических сведений о детстве Есенина известно, что за бедностью и многочисленностью своей крестьянской семьи, он воспитывался у довольно зажиточного деда по матери. Рос Есенин дикарем. Трех с половиной лет его посадили на лошадь без седла и пустили в галоп, а потом учили плавать, бросая

*) Доклад 14/1 27 г. в Нервно-Психиатрической Подсекции Общества Естествоиспытателей и врачей при Смоленском Государственном Университете.

его в воду. С восьми лет он заменял своим дядьям охотничью собаку, плавая по озерам за подстреленными утками, очень хорошо лазал по деревьям, снимая грациозные гнезда с берез. Среди мальчишек был коноводом и большим озорником.

Кудрявый, рыжеволосый,
среди мальчишек всегда герой,
часто, часто с разбитым носом
приходил я домой.

Ни один гребень не брал его кудрявых волос, и, когда его по субботам мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, он орал благим матом и даже «теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе», говорит он позднее. Но этот дикарь и озорник был мечтательным мальчиком с голубыми глазами, любящим фантазировать в уединении. С 9 лет стал писать стихи:

.....
Тогда впервые с рифмой я схлестнулся,
от сонма чувств вкружилась голова,
и я сказал: коль этот зуд проснулся
всю душу выхлещу в слова.

Тогда в мозгу,
влеченьем к музе сжатом,
текли мечтанья в тайной тишине,
что буду я известным и богатым,
и будет памятник стоять в Рязани мне.
В пятнадцать лет влюбил я до печенок
и сладко думал, лишь уединюсь,
что я на этой, лучшей из девчонок,
достигнув возраста женюсь.,

Фантазия мальчика была до чрезвычайности горячая, и в ней звание «поэт» являлось чем то недосыгаемым, и даже в 18 лет, когда Есенин впервые увидал в Петербурге Блока, с него капал пот, потому что он первый раз видел живого поэта. Любящий фантазировать, мальчик Есенин был замкнутый, свои обиды переживал сам в себе и побитый мальчишками:

.....
...и навстречу испуганной маме
цедил в окровавленный рот:
ничего, я споткнулся о камень—
—это к завтраму все заживет.

Итак, дикарь, дитя природы, деревенский озорник, но вместе с тем мечтательный, впечатлительный, любящий горячо фантазировать в уединении, неоткровенный в своих переживаниях и обидах — таков детский облик Есенина.

Все эти детские особенности Есенина, в которых заметно вырисовывается их психотимический характер, в дальнейшем развиваются с возрастом и определяют личность и творчество поэта.

Есенин лирик. «Величайший лирик современности» (Авербах), «Интимнейший лирик» (Троцкий)—вот эпитеты, которыми снабжают Есенина критики.

«Поражает в поэзии Есенина», говорит Ф. Жиц: «отсутствие человека, конкретного адресата, которым испещрены, напр., все произведения Пушкина. Основной мотив—лирика, как будто поэт шагает по земле легкой, бесплотной поступью. Нет Ивана, Петра, Марьи, Тани и т. д. Вместо человека, неодушевленное растительное царство».

Хороша, ты, о белая гладь,
Греет кровь мою легкий мороз,
Так и хочется к телу прижать
Обнаженные груди берез.

Или:

.....
Говорят со мной коровы
на кивливом языке,
духовитые дубровы
кличут ветками к реке...

Есенин любит этот растительный и животный мир, за исключением человека. Этот «аутизм», особенно резко выраженный в произведениях Есенина, вообще характерен для лирической поэзии, в которой, при изучении ее с психопатологической стороны, явно преобладает, как говорит Кречмер, шизотимический элемент с аутистическим контрастом: с одной стороны «Я», лирически мечтающее, с другой—«Внешний мир». Лирика, по Кречмеру, поэзия шизоидная.

Аутистическая фантазия поэта обвеивает картины родной природы романтическим религиозным флером:

Троицино утро, утренний канон
в роще по березкам белый перезвон,
тянутся деревья с праздничного сна,
в благовесте ветра хмельная весна.

Или:

.....
Пахнет вербой и смолою,
синь то дремлет, то вздыхает,
у лесного аналога
воробей псалтирь читает.

Или:

.....
Не ветры осыпают пуши,
не листопад златит холмы,
с голубизны незримой кущи
струятся звездные псалмы.
.....

Романтикой этих примитивных церковно-религиозных образов Есенин оживляет родную природу. Романтик, по определению Кречмера, это аутист, который без борьбы уходит в мир фантазии. Но если психозфреник Хольдерлин уходит в благородную чистоту древней Греции; психотимики Тассо и Новалис—в мистически-благоговейный мрак средневековья; психотимик Руссо—в буколистическую тишину мнимой природы и мнимого первобытного человека (Кречмер), Есенин уходит в мир деревенской, хлебной, лесной и полевой, избяной, канонной, богомольной, заброшенной Руси, мира таинственного и древнего. Этой Руси посвящен первый цикл его стихов:

Гой, ты, Русь, моя родная,
хаты, в ризах образа,
не видать конца и края,
только синь сосет глаза...
...Если крикнет рать святая:
—Кинь, ты, Русь, живи в раю—
Я скажу: не надо рая—
Дайте родину мою.

Русь Есенина дремлет, грустит, грезит, плачет. «Поэт воспринимает осеннюю грусть, журавлиную тоску сентября, древность наших вечеров, заунывность наших песен, печаль наших туманов. (Воронский).

Сторона-ль, моя сторонка,
горевая полоса, только,
только лес, да посолонка
да заречная коса...

Или:

Лес застыл без печали и шума,
виснет темь, как платок за сосной,
сердце гложет плакучая дума
Ой, не весел ты, край мой родной.

Пригорюнились девушки—если,
и поет мой ямщик на—умяк:
«Я умру на тюремной постели,
похоронят меня кое-как».

Грустные настроения сопровождают творчество поэта с самых ранних его периодов.

...И меня по ветряному свею
по тому-ль песку
поведут с веревкою на шею
полюбить тоску.

Есенин, именно, полюбил тоску. Грусть о том, что мир обман, пустота, предчувствие своей гибели... Чувство одиночества, все, что с наибольшей силой выражено в «Москве Кабацкой» и в предсмертных вещах поэта, имеется и в стихах первого пери-

Есенин лирик. «Величайший лирик современности» (Авербах), «Интимнейший лирик» (Троцкий)—вот эпитеты, которыми снабжают Есенина критики.

«Поражает в поэзии Есенина», говорит Ф. Жиц: «отсутствие человека, конкретного адресата, которым испещрены, напр., все произведения Пушкина. Основной мотив—лирика, как будто поэт шагает по земле легкой, бесплотной поступью. Нет Ивана, Петра, Марьи, Тани и т. д. Вместо человека, неодушевленное растительное царство».

Хороша, ты, о белая гладь,
Греет кровь мою легкий мороз,
Так и хочется к телу прижать
Обнаженные груди берез.

Или:

.....
Говорят со мной коровы
на кивливом языке,
духовитые дубровы
кличут ветками к реке...

Есенин любит этот растительный и животный мир, за исключением человека. Этот «аутизм», особенно резко выраженный в произведениях Есенина, вообще характерен для лирической поэзии, в которой, при изучении ее с психопатологической стороны, явно преобладает, как говорит Кречмер, шизотимический элемент с аутистическим контрастом: с одной стороны «Я», лирически мечтающее, с другой—«Внешний мир». Лирика, по Кречмеру, поэзия шизоидная.

Аутистическая фантазия поэта обвеваает картины родной природы романтическим религиозным флером:

Троице утро, утренний канон
в роще по березкам белый перезвон,
тянутся деревья с праздничного сна,
в благовесте ветра хмельная весна.

Или:

.....
Пахнет вербой и смолою,
синь то дремлет, то вздыхает,
у лесного аналога
воробей псалтирь читает.

Или:

.....
Не ветры осыпают пуши,
не листопад златит холмы,
с голубизны незримой кущи
струятся звездные псалмы.
.....

Романтикой этих примитивных церковно-религиозных образов Есенин оживляет родную природу. Романтик, по определению Кречмера, это аутист, который без борьбы уходит в мир фантазии. Но если шизофреник Хольдерлин уходит в благородную чистоту древней Греции; шизотимики Тассо и Новалис—в мистически-благоговейный мрак средневековья; шизотимик Руссо—в буколистическую тишину мнимой природы и мнимого первобытного человека (Кречмер), Есенин уходит в мир деревенской, хлебной, лесной и полевой, избяной, канонной, богомольной, заброшенной Руси, мира таинственного и древнего. Этой Руси посвящен первый цикл его стихов:

Гой, ты, Русь, моя родная,
хаты, в ризах образа,
не видать конца и края,
только синь сосет глаза...
...Если крикнет рать святая:
—Кинь, ты, Русь, живи в раю—
Я скажу: не надо рая—
Дайте родину мою.

Русь Есенина дремлет, грустит, грезит, плачет. «Поэт воспринимает осеннюю грусть, журавлиную тоску сентября, древность наших вечеров, заунывность наших песен, печаль наших туманов. (Воронский).

Сторона-ль, моя сторонка,
горевая полоса, только,
только лес, да посолонка
да заречная коса...

Или:

Лес застыл без печали и шума,
виснет темь, как платок за сосной,
сердце гложет плакучая дума
Ой, не весел ты, край мой родной.

Пригорюнились девушки—ели,
и поет мой ямщик на—умяк:
«Я умру на тюремной постели,
похоронят меня кое-как».

Грустные настроения сопровождают творчество поэта с самых ранних его периодов.

...И меня по ветряному свею
по тому-ль песку
поведут с веревкою на шею
полюбить тоску.

Есенин, именно, полюбил тоску. Грусть о том, что мир обман, пустота, предчувствие своей гибели... Чувство одиночества, все, что с наибольшей силой выражено в «Москве Кабацкой» и в предсмертных вещах поэта, имеется и в стихах первого пери-

ода его творчества» (Воронский). Юношей 21-го года, Есенин, по воспоминаниям С. Мурашева, на собрании в квартире Блока, пишет показавшееся «страшным» автору произведение:

Слушай, поганое сердце,
сердце собачье мое,
я на тебя, как на вора,
спрятал в руках лезвие.
Рано-ли, поздно всажу я
В ребра холодную сталь,
нет, не могу я стремиться
в вечную, сгнившую даль.
Пусть поглупее болтают,
что их загрызла мета,
если и есть что на свете—
—это одна пустота.

Эта Есенинская грусть, эта мрачная тоска—ни что иное, как настроение гиперэстетичного шизоида или шизопата, каким, очевидно, являлся поэт. Эта гиперэстезия, по Кречмеру, является очень характерной для образованных и одаренных шизоидов—у Есенина же она достигает значительной силы—

Быть поэтом—это значит тоже,
если правда жизни не нарушит,
рубцевать себя по нежной коже,
кровью чувств ласкать чужие души.

Сравните эти строки с Пушкинским или Лермонтовским «Пророком», и вы увидите, насколько сильнее Есенинские стихи. «Есенин», говорит Жиц, «горел жутким и прекрасным факелом из стихов и жизни».

Революцию Есенин встретил, как истый романтик; он воспе-
вает ее, как «народную стихию», «бунт», от которого ревет земля»: Поэт раздвигает революцию до космических пределов, он го-
ворит о вызревании «Нового Назарета» (Ильина).

Небо, как колокол,
месяц язык,
мать моя—родина,
я—большевик.

«Инония»—будущее государство, которое обещает Есенин, это не построенная на индустриальной мощи страна пролетариата, а мир полудедовский, куда уходит Есенин от надвигающе-
гося «железного века».

Стихи этого периода творчества Есенина согревает романти-
ческий пафос, также, по Кречмеру, характерный для шизоидов. «Самым лучшим временем в моей жизни», пишет Есенин, «считаю 1919 год. Дров у нас не было ни полена, тогда зиму мы прожили в пяти градусах комнатного холода». Это время было для Есе-
нина временем целого ряда романтических приключений, от ко-
торых значительно отдаёт детским озорством. Свои стихи Есенин

предложил писать и писал на стенах, с московских улиц снимал дощечки со старыми названиями и переименовывал улицы именами поэтов так, улица Моссовета была самозванно переименована «улицей Сергея Есенина», пока это не было замечено.

Эти по своему характеру скорее ребяческие, инфантильные озорства поэта, оказывается, очень характерны для него. «Озорное в нем было» отмечает Воронский. Воронский же рассказывает о своей встрече с Есениным, одетым в цилиндр и Пушкинскую крылатку. «Хочу походить на Пушкина, лучшего поэта в мире», сказал Есенин и добавил: «Очень мне скучно». Он казался Воронскому капризным и обиженным ребенком. Этот озорной и капризный инфантилизм поэта—новый симптом в анализе его личности, характерный для шизопатии. Шизоидные особенности характера Есенина вполне подтверждаются воспоминаниями Воронского. Он пишет: «Есенин казался великим, смиренным, спокойным и проникновенно-тихим... Он был очень скрытен... Говорил Есенин мало, тихим, приглушенным голосом, больше слушал и соглашался, отвечал на вопросы односложно и как-бы неохотно... Я скоро убедился, что делиться своими впечатлениями он или не хочет или не может». Отмеченная необщительность поэта лучше всего иллюстрируется тем, что в Америке он заявлял: «Кто хочет знакомиться со мной пусть учится говорить по-русски».

Революционные годы в творчестве Есенина характеризуются его формальной установкой на имажинизм, литературное течение, провозглашенное в 1919-м году Сергеем Есениным, Анатолием Мариенгофом и Вадимом Шершеневичем. Шизоидные особенности этого направления бросаются в глаза. Здесь манерность и вычурность. Здесь, отмеченная уже Кречмером, шизоидная тенденция к крайней стилизации, экспрессионизм образов и аутистическое, тенденциозное игнорирование реальной формы. Сущность этого направления заключается в дикой образности, подчас совсем убивающей логический смысл стиха. «Соединение отдельных образов в стихотворение», говорит имажинист Шершеневич: «есть механическая работа, а не органическая... стихотворение не организм, а только каталог образов... Образ не только не подчинен грамматике, а всячески изгоняет ее... Он свободен от логики и смысла». Психопатологический анализ этого течения значительно облегчается несомненной аналогией между содержанием и формой этого течения и архаически-примитивным мышлением, которое Kronfeld, Storch, Schilder, Reiss, а также и Кречмер в своей «Medizinische Psychologie» считают характерным для мышления шизофреников. Здесь то же обилие образов и символов, освобожденных от грамматики, та же склонность к метафорическим описаниям, образная, стремящаяся к обозначению предметного речь, что и у первобытных народов и у шизофреников, у которых, вследствие ослабления высшей интенциональной сферы, всплывают наверх образования, свойственные первобытному дологическому мышлению. Не случайность, конечно,

что Есенин пришел именно к этому шизоидному по характеру течению, при помощи которого он еще глубже уходит в мир природы и первобытной фантазии. Уход этот настолько глубокий, что в имажинизме Есенина звучит анимистическое, дикареки-первобытное чувство. «Зооморфизм» и анимизм Есенина такой же как и у дикаря, у которого божества, духи находят свое местожительство в домашних и прочих животных.

Тучи с ожереба
ржут, как сто кобыл,
плещет надо мною
пламя красных крыл.
Небо, словно вымя,
Звезды, как сосцы,
пухнет Божье вымя
в животе овцы.

Или:

Тучи, как озера,
месяц — рыжий гусь,
пляшет перед взором
буйственная Русь...

.....

В имажинистский период творчества Есенина появляется новый мотив; по сравнению с первыми книгами—это буйное богохульство.

Не молиться тебе, а лаяться
Научил ты меня, Господь.
(Пантократор).

Протянусь до незримого города,
млечный прокушу покров,
даже Богу я выщиплю бороду
оскалом моих зубов.

Ухвачу его за гриву белую
и скажу ему голосом вьюг:

«Я иным тебе, Господи, сделаю,
Чтобы зрел мой словесный луг».

Это богохульство, сменившее в поэзии Есенина его религиозность, оказывается не ново для него. «В детстве у меня», пишет он—«были резкие переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до желания кощунствовать и богохульствовать» и потом в творчестве были такие-же периоды—сравните настроения первой книги хотя-бы с «Преображением». Эту альтернативную установку аффектов Кречмер считает особенно характерной для шизоидных художников и здоровых шизотимиков.

Альтернативная аффективность—симптом, часто встречающийся в поэзии Есенина: его религиозность переходит в святотатство, душевная чистота и смиренность в разбойную удаль, как, например:

Я одну мечту лелею, нежу,
что я сердцем чист,
но и кого-нибудь зарежу
под осенний свист.

тонкий, чарующий лиризм в подчеркнутую грубость образов. Далее мы увидим, как эта альтернативность аффектов у Есенина переходит в их амбивалентность. Внутренней альтернативности в настроении поэта соответствуют контрастирующие, альтернативные особенности внешней формы стиха. Для примера возьмем его «Исповедь хулигана». Начинается «Исповедь» грубыми, неэстетичными, пренебрежительными, неряшливыми и небрежными словами:

Я нарочно хожу нечесанным,
с головой, как керосиновая лампа на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
мне нравится в потемках освещать.

А через несколько строк идет пропитанное простым, теплым, нежным чувством воспоминание о детстве и такое же признание в своих чувствах:

Я все такой же,
сердцем я все такой-же
как васильки во ржи, цветут глаза,
етеля стихов злачные рогожи,
Мне хочется вам нежное сказать.

Но дальше ряд грубых, неожиданных слов, резко контрастирующих с приведенными строками:

Башка моя, словно август,
льется бурливых волос вином.
Я хочу быть желтым парусом
в ту страну, куда все мы плывем.

Эти контрастирующие особенности стиля и формы, по Кречмеру, считаются характерными для шизотимических произведений. «Шизотимический стиль», говорит Кречмер, «вращается между двумя полярными противоположностями—между изящным сдержанным чувством с одной стороны и небрежной неряшливостью, даже грубой неэстетичностью, циничным пренебрежением и совершенным игнорированием всякого чувства формы и приличия с другой. Это шизоидное игнорирование формы».

Романтический пафос, как это бывает у шизоидов, был у поэта нестойким. Быстро охладела революционная романтика. Революция несла с собою мощь железной индустрии, а с нею и гибель его первобытному миру, и Есенин проклинает и ненавидит город, грустит и сочувствует красногривому жеребенку, милому «дуралею», образу уходящей деревенской Руси, которому все равно не догнать поезд, грустит о временах, когда «пару красивых степных россиянок отдавал за коня печенег». У поэта еще в более резкой степени назревает конфликт с внешним миром.

Он видит кровь гражданской войны, вошь, голод, трупы лошадей, «рваные животы кобыл», а над ними «вороньи корабли». (Ильина). Его Русь плывет «кобыльими кораблями», деревня захлебывается самогоном, и Есенин стремится разрешить конфликт тем, что спускается в трюм, чтобы не видеть плачевного состояния корабля.

Тот трюм был русским кабаком,
и я склонился над стаканом,
чтоб, не страдая ни о ком,
себя сгубить в угаре пьяном.

К кабаку Есенин пришел вследствие своей психопатической малозащищенности, неприспособленности к реальной действительности, своему аутизму, чертам, которые являются характерными для шизоидов и шизопатов (Кречмер, Блейлер, Перельман). Большинство литературных критиков подтверждают это, говоря об «особой нежности, неогражденной, незащищенной души Есенина» (Троцкий), «неспособной оказать сопротивление нашей эпохе, «незащищенности, незнакомству с реальной жизнью, приведшей к кабаку поэта» (Брайнина).

Кабак для Есенина «место жуткое», куда он идет, «головой свесясь», но оттуда он уже не возвращается и пьет, пьет, пьет до алкогольного психоза, картину влияния которого на характер поэзии Есенина рисует И. Б. Галант в своей статье, помещенной в «Клиническом архиве гениальности и одаренности». Но все же алкоголизм, по нашему мнению, придавая соответствующую окраску произведениям последнего периода творчества Есенина, не является в них чем-то самодовлеющим (за исключением лишь нескольких чисто алкогольных стихотворений). Алкоголизм лишь обнажает, всхлепывает основные конституциональные корни его поэзии. Аутистические тенденции усиливаются. «Поездка за границу усилила его ненависть к городу», пишет Брайнина: «идя как-то по улицам Москвы после своей поездки за границу в 1922 году, Есенин, схватив за руку, спросил: Разве не слышишь, как растут небоскребы. Это та же Америка, та же проклятая и убийца». Чувствуя одиночество, убегая от людей, поэт обнимает в ресторане чучело зверя (воспоминания М. Левидова). Его Русь, его родина, которой посвящалось его творчество, становится «страной негодяев», как он назвал одну из последних поэм. Про себя он говорит:

Этот человек
проживал в стране
самых отвратительных
громил и шарлатанов.

Романтический пафос сменяется лирической драматичностью. Аффективная альтернативность переходит в настоящую амбивалентность—существование двух противоположных чувств одновременно, что так характерно для шизоидных личностей:

Плачет мятель, как цыганская скрипка,
милая девушка, злая улыбка,
я-ль не робею от синего взгляда,
много мне нужно и много не надо.

Здесь амбитенденция: «много мне нужно и много не надо», амбиваленция: «милая девушка» и у ней «злая улыбка». Последние слова—это выражение амбивалентного сексуального комплекса Есенина, часто встречающееся в стихах этого периода.

...и на этом на коне
едет милая ко мне.
Едете, едет милая
только не любимая.

Про себя он говорит словами «Черного человека»:

Был он изящен,
к тому же поэт,
хоть с небольшой,
но ухватистой силой,
я какую-то женщину
сорока с лишним лет
называл скверной девочкой
и своюю милой.

Это все примеры сексуальной амбивалентности поэта, но процесс идет дальше, и мы встречаемся уже с явлениями расщепления личности поэта, в душе которого, как и у настоящего пизотимика, живут несовместимые противоположные начала. «Есенин двойственен, расколот, дисгармоничен», говорит Ильина. Воронский, хорошо знавший и изучивший поэта, пишет: «Образ Есенина двоится. Два человека вели в нем тяжкую, глухую и постоянную тяжбу... словно кто-то насильственно и механически соединил их, непонятно зачем и почему. Таким Есенин и остался до конца дней своих, не только по внешности, но и в основном». В поэме «Черный человек» это расщепление выявляется самим поэтом. «Черный человек»—поэма алкогольная (И. Галант). Но алкоголизм обнажает здесь основное уже не алкогольное расщепление личности, которая здесь не только раздваивается, но распадается на целых три самостоятельных комплекса. Два из них видны сразу—это сам поэт и, во-вторых—черный человек, который есть ни что иное, как жестокая совесть поэта, проекция во вне его внутренних переживаний. Образ третьего мелькает в строках: «обокравший кого-то» и по ходу поэмы мы видим, что этот «кто-то»—опять таки сам Есенин, только мальчик, прошлое.

Не знаю, не помню
в одном селе—
может, в Калуге,

а может в Рязани
жил мальчик
в простой крестьянской семье
желтоволосый,
с голубыми глазами.

Это основное, в данном случае восхлещиваемое алкоголизмом, расщепление личности Есенина, можно найти и в других произведениях поэта, так, например, в его «Стране негодяев» различные борющиеся друг с другом, лица (Номах, Чекистов) выражают лишь противоположные чувства самого поэта.

Вслед за «Москвой Кабацкой» выходит новая книга стихотворений Есенина под названием «Любовь хулигана», но здесь нет ничего хулиганского.

Я-б на веки забыл кабаки
и стихи бы писать забросил,
только-б тонко касаться руки
и волос твоих цвета в осень.
Я-б на веки пошел за тобой
хоть в свои, хоть в чужие дали,
первый раз я запел про любовь,
в первый раз отрекаюсь скандалить.

Или:

.....
...Это золото осеннее,
эта прядь волос белесых—
все явилось, как спасенье
беспокойного повесы.

Но можно ли назвать любовью эту осеннюю прозрачную нежность без страсти, огня и желаний, лишь бы только «касаться руки и волос твоих, цветом в осень!» (Слышны только слова «самых нежных и кротких песен» (Брайнина). И эта нереальность любви (симптом шизоидный) ощущается самим поэтом. В первом стихотворении он «душой немножко омертвелый», а дальше он уже «душой стал, как желтый скелет».

В настроении поэта также углубляют свою работу шизоидные механизмы. Одновременно с безнадежной грустью, чрезмерной чувствительностью, гиперестезией появляются элементы анестетические, холодность, остывание. И это опять характерно. «Только тот владеет ключом к пониманию шизоидных темпераментов», говорит Кречмер, «кто знает, что большинство шизоидов обладают не одной только чувствительностью или холодностью, но тем и другим одновременно». Появление этих анестетических черт в настроении поэта «объясняется тем, что, в психике его происходит то, что Кречмер называет перемещением психэстетической пропорции шизоидов»—это постепенный переход от чрезмерной чувствительности к холодности и застыванию.

Как, пример, Кречмер, приводит шизофреника Хольдерлина, который, переживая этот переход, как постепенное внутреннее охлаждение, описывает его в стихах:

Wo bist Du? Wenig lebt ich, doch atmet Kalt.
Mein Abend schon. Und Stille den Schatten gleich.
Bin ich schon hier und schon gesanglos
Schtummert das schauernde Herz im Busen?

Есенин также ощущает постепенное охлаждение души, остывание сердца, скупость в желаниях.

Неудержимо, неповторимо...
все пролетело далече, мимо...
сердце остыло. Выцвели очи.
Синее счастье, лунные ночи...

Или:

.....
холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня...
.....

Или:

Дух бродяжий! Ты все реже, реже
расшевеливаешь пламень уст.
О, моя утраченная свежесть,
буйство глаз и половодье чувств.
Я теперь скучнее стал в желаньях,
жизнь моя, иль ты приснилась мне,
словно я весенней гулкой ранью
проскакал на розовом коне...

Есенин, также, как и Хольдерлин, в приведенных для сравнения строках чувствует свой вечер и также сожалеет о том, что он немного жил, но уже остыл. Но у Есенина все-же больше гиперэстических чувств, чем у скоро превратившегося в кататоническую статую Хольдерлина, и поэтому слова Есенина о прошедшей молодости, которую поэт считает погубленной, эти слова сочатся кровавой нежностью. Холодеют чувства, остывает сердце, жизнь еще резче, чем ранее, ощущается, как обман:

Жизнь обман с чарующей тоскою...

и Есенин делает из всего этого последний вывод—он вешается в ночь с 27-го на 28-е декабря в гостинице «Англетер», прощаясь последней, написанной кровью запиской:

До свиданья, друг мой, до свиданья,
милый мой, ты у меня в груди:
предназначенное расставанье
обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой,
без руки и слова,
не грусти и не печаль бровей,

в этой жизни умирать не ново,
но и жить, конечно, не новей.

Есенин, очевидно, не чувствуя в себе возможности творить новое, небывалое, из-за которой он ценил жизнь, чувствуя свое остывание, охлаждение, решил совсем уйти из жизни, как раньше уходил от века своего и людей, и он привел это решение в исполнение. Это последний аутистический акт поэта. Алкоголизм, в котором многие видят единственную причину самоубийства Есенина, по нашему мнению, только подтолкнул выросшее из более глубоких конституциональных корней решение поэта.

Итак, патографическое изучение Есенина рисует нам его, как мятущегося шизоида-гиперэстетика, по Кречмеру, или шизопата, по Перельману. Что же касается «есенинщины», как общественного явления, то понятно, что это течение, порожденное поэзией больного человека, уходящего от своей эпохи и людей, столь же болезненно и дисгармонично со здоровым и бодрым духом этой эпохи.

Литературный указатель.

Кречмер. Строение тела и характер.

И. Б. Галант. Душевная болезнь С. Есенина. Клин. Арх. Ген. и Одар. т. II, вып. 2.

Ф. Жиц. Почему мы любим Есенина. Красная Новь, № 5. 1926 год.

Статьи: Воронского, Троцкого, Розенфельда, Брайниной, Ильиной, Шершеневича в сборнике, о Есенине. Изд. «Чикитинские субботники». 1926 год.

Воспоминания Воронского о Есенине в журн. Красная Новь за 1926 год.

С. Цейтлин. На родине Есенина. Красная Нива, 1926 г.

М. Левидов. Вечерняя Москва, № 3, 1926 г.

Л. Авербах. Памяти Есенина. Известия ЦИК, № 298.

Сборн. стихотворений Есенина, т. I, II, III. Госиздат, 1926 г.

Рецензии.

П. И. КАРПОВ. Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники. Научные монографии. Госиздат. Москва—Ленинград. 1926. Цена 3 руб. 50 коп. 199 стр.

Если Карпов говорит о влиянии творчества душевнобольных на развитие науки, искусства и техники, так это, очевидно, потому, что он всех гениальных мыслителей, художников, ученых безоговорочно относит к душевнобольным и творчество их подводит под категорию «творчество душевно-больных». За такое наше понимание основной мысли Карпова о влиянии творчества душевнобольных на развитие науки, искусства и техники говорит следующее место его книги:

«Но душевнобольной представляет определенную ценность, ибо как это ни покажется парадоксальным, он нередко оплодотворяет науку, искусство, технику новыми ценностями».

«В зависимости от душевного склада душевно-неуравновешенный субъект может направлять свое творчество то на созидание, то на разрушение. Достаточно взять несколько исторических примеров для того, чтобы пояснить фактами высказанное положение. Иоанн Грозный и Наполеон были, вне всякого сомнения, душевнобольные, направившие свое творчество в сторону разрушения; в их потребностях всегда присутствовало властное желание причинять страдание, может быть, реализация только этой потребности заставляла их переживать минуты наслаждения».

«Кто же будет сомневаться в наличии душевного заболевания у Гоголя, Достоевского, Ньютона и др., и что они владели высоким творческим импульсом, увенчивающим все человечество лаврами славы и созданием неограниченных возможностей в разнообразных плоскостях творчества?».

Все это хорошо. Ньютон, Достоевский, Гоголь безусловно способствовали развитию науки и искусства. Но неужели же можно назвать творчество Гоголя, Достоевского, Ньютона «творчеством душевнобольных»? Да к тому еще так безоговорочно, как это делает Карпов. Не смешно и грешно ли подводить гениальные произведения великих людей вместе с бездарнейшими продуктами больной психики душевнобольных, заключенных в психиатрической больнице, под общую рубрику «творчество душевнобольных», чтобы потом утверждать, что «творчество душевно-больных» влияет на развитие науки, искусства и техники? А между тем Карпов именно так и делает, иначе непонятна совершенно

следующая его мысль: «Душевно-больные были и будут реформаторами во всех областях человеческой жизни»!.. (Стр. 30). Такое странное утверждение Карпова заставляет нас думать, что он относит творчество гениальных людей к тому же виду «творчества душевнобольных», о котором говорится в его книге. В этом я вижу недопустимую ошибку автора, позволившую ему говорить о влиянии творчества душевнобольных на развитие науки, искусства и техники и внесшую полную конфузию в понятие «творчество душевнобольных».

Главы II, III, IV, V, VI посвящены творчеству больных ранним слабоумием, прогрессивным параличем, паранойей, эпилепсией и циркулярным психозом. Эти главы имеют интерес для психиатра-клинициста, т. к. приводимые примеры творчества очень характерны для каждого из упомянутых болезней и они могут служить для подтверждения диагноза в некоторых сомнительных случаях. Но если бы Карпов хотел на основании приводимых им в главах II—VI примеров творчества душевнобольных говорить о влиянии творчества душевнобольных на развитие науки, искусства и техники, то нам ничего другого не осталось бы, как недоумевать. Приводимые Карповым образцы творчества душевно-больных принадлежат к самым бедным продуктам вырождающегося человеческого мозга, и говорить о влиянии этих продуктов на развитие культуры более чем смешно. Они ни для кого другого не имеют интереса, как только для психиатра, и влияние их вне психиатрической больницы = 0. На психиатра же эти продукты «влияют», облегчая ему изучение душевных болезней и возбуждая и поддерживая его интерес к своим больным и к проблемам процесса творчества вообще.

Последняя, VII глава книги посвящена «психотехнике творческого процесса» и имеет больше всего интерес для эвропатолога. Как Карпов представляет себе процесс творчества, наглядно представлено у него на рисунке. На словах основная идея Карпова о процессе творчества такова. Творчество — процесс интуитивный, интуитивный же процесс совершается следующим образом: синтетическая работа происходит в недрах подсознательного и в «самосознании» этого последнего получается готовое решение. «Готовое решение, оформившаяся идея, выявившись в потоке контролирующего сознания, производит психическую сенсацию в последнем, так как оно действительно не работало над разрешением выкристаллизованной проблемы, поэтому последняя и производит психическую сенсацию в сознании.

Это первый этап творческой работы, по поводу которого Карпов ставит вопрос: «Нужны ли какие-то внутренние причины, побуждающие подсознание влиять в поток контролирующего сознания готовые решения и тем организовывать интуитивный, творческий процесс тогда, когда в наличии имеется нут, соединяющий оба самосознания?».

«Для проявления интуитивного, творческого процесса внутренние причины нужны, так как по опыту нам известно, что интуитивный процесс возникает помимо нашего желания, интервалы же не поддаются ни сокращению, ни удлинению, ибо интуитивный процесс лежит вне сферы нашего влияния и всецело находится во власти внутренних причин, лежащих в тайниках жизнедеятельности нашего организма».

«Второй этап творческой работы заключается в том, что контролирующее сознание, овладев готовой идеей, путем аналитическим расчленяет ее на составные части, по которым и создает стройные теории, оплодотворяющие жизнь новыми ценностями».

«Следовательно, вторая стадия творческой работы протекает в контролирующем сознании (II самосознание). Рожденная идея, воспринятая первым самосознанием, в аналитическом акте проходит через все моменты сознания до восприятия качества и действия, связываясь, таким образом, со всеми функциями сознания, благодаря чему данная идея становится с этого момента собственностью бодрственной личности. Вот почему многие творцы говорят, что непереживаемый восторг и высшая радость венчают творческий процесс, а его прочно утверждают холодные, трезвые выкладки ума, придавая жизненный характер первому акту творческого процесса. Следовательно, полное завершение творческого процесса происходит путем аналитической работы контролирующего сознания, если бы таковой работы не произошло, то интуитивный творческий процесс навсегда утратил бы реальную ценность».

«Таким образом, творческий процесс состоит из трех стадий: синтеза, протекающего в подсознании, рождения готового решения в контролирующем сознании и анализа, протекающего в последнем».

Я нарочно изложил здесь квинтэссенцию творческого процесса, как его понимает Карпов, в его же, Карпова, словах, чтобы ни автор книги, ни читатель рецензии не могли допустить мысли, что я искажил хотя бы на йоту основные идеи автора о творческом процессе. Мне кажется, что как до, так и после «психотехники творческого процесса» Карпова вопрос о процессе творчества остается таким же, каким он был раньше. Карпов ничего нового не прибавил. Я думаю, что в этом с нами согласится и сам Карпов, который подчеркивает, что «процесс творчества нам мало известен; его законы остаются скрытыми в недрах нашего мозга»...

При всем том, надо признать, что книга Карпова имеет значительную научную ценность, и ее появление в русской научной психиатрической литературе следует приветствовать, как опыт дать широкому читателю представление о творчестве душевнобольных, как оно выявляется в психиатрической больнице.

Ив. Галант (Москва).